ВЕЧНАЯ КЛАССИКА В СТИЛЕ МАНГИ



АЛЕКСАНДР ПУШКИН

# КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

# Капитанская дочка. Дубровский
## Александр Сергеевич Пушкин

Аннотация
Александр Сергеевич Пушкин. Капитанская дочка. Дубровский
«Капитанская дочка» и «Дубровский» Александра Сергеевича Пушкина
Капитанская дочка
  Глава I. Сержант гвардии
  Глава II. Вожатый
  Глава III. Крепость
  Глава IV. Поединок
  Глава V. Любовь
  Глава VI. Пугачёвщина
  Глава VII. Приступ
  Глава VIII. Незваный гость
  Глава IX. Разлука
  Глава X. Осада города
  Глава XI. Мятежная слобода
  Глава XII. Сирота
  Глава XIII. Арест
  Глава XIV. Суд
Дубровский
  Том первый

Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Том второй
Глава IX
Глава X
Глава XI
Глава XII
Глава XIII
Глава XIV
Глава XV
Глава XVI
Глава XVII
Глава XVIII
Глава XIX

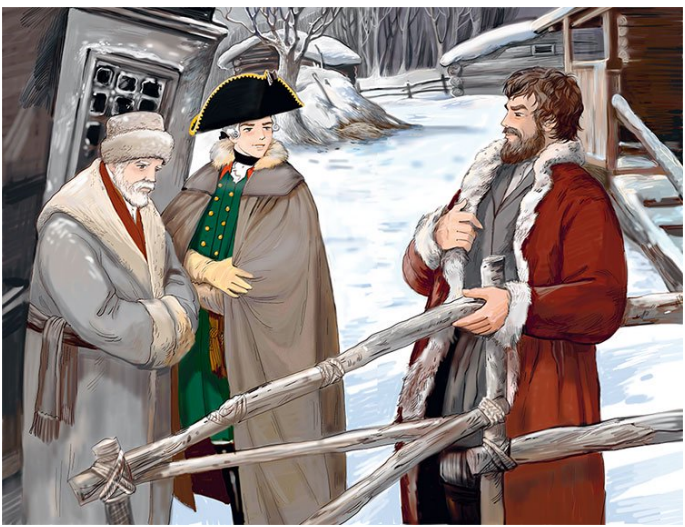
## Аннотация

«Капитанская дочка» и «Дубровский» – одни из самых известных прозаических произведений А. С. Пушкина. В этой книге вы найдёте не только полные тексты произведений, но и вступительную статью и комментарии аспиранта Литературного института имени А. М. Горького, которые помогут вам подготовиться к экзаменам.

# Александр Сергеевич Пушкин
# Капитанская дочка
# Дубровский

© Белоусова Е. Н., иллюстрации, 2025
© Оформление, вступительная статья, комментарии. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025 Machaon®

* * *







# «Капитанская дочка» и «Дубровский» Александра Сергеевича Пушкина

Россию на протяжении всей её новейшей истории сотрясали народные волнения. XVIII–XIX века не стали исключением. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева, чумные и холерные бунты, восстание декабристов — лишь некоторые из череды народных возмущений. Причины возникновения были разные, но все они говорили об одном: необходимости реформ. Однако государственный аппарат Российской империи был не готов к резким изменениям, что приводило к увеличению пропасти между простым народом и властью. Всё это не могло не получить своего отражения в литературе.

Александр Пушкин к 1830-м годам уже сформировался как первый поэт России и начал изучать более сложные литературные жанры, такие как повести, романы и исторические эпические произведения. Осталась позади юношеская пора романтизма, когда пушкинский лирический

герой был одинок, мечтателен и свободолюбив. После двух ссылок, серьёзных потрясений из-за казни близких друзей-декабристов, смерти Александра I, с которым у поэта были очень напряжённые отношения, и восхождения на престол Николая I, с которым отношения тоже сложились непростые, но более лояльные, Пушкин начал ощущать сильное влияние истории на настоящее и будущее.

Историзмом проникнуто всё последующее творчество писателя: поэмы «Медный всадник» и «Полтава», трагедия «Борис Годунов», романы «Дубровский» и «Капитанская дочка». «„Исторический“ взгляд на окружающую жизнь, которая на каждом шагу кричала о несправедливости, унижении человеческого достоинства и произволе, мог бы успокоить человека с ленивой душой и нетребовательной совестью. Пушкин не был таким: размышления о суровости исторических законов не усыпляли, а возбуждали у него нравственно-гуманистические требования» (Ю. М. Лотман).

Пушкин не был историком по профессии, но, в отличие от своего Онегина, как заметил Г. В. Вернадский, как раз «имел охоту рыться в хронологической пыли» архивных документов.

Правительство от него ждало возвеличивания монархии, прославления императоров, но у Александра Сергеевича были свои планы. В 1831 г. вместе с правом пользоваться государственными архивами он под предлогом работы над биографией Александра Суворова получил доступ к документам о восстании Емельяна Пугачёва 1773–1775 гг., а потом и вовсе добился разрешения отправиться в рабочую командировку в Сибирь, чтобы собрать сведения, что называется, из первых уст. Свидетелей событий 60-летней давности осталось уже мало, они были уже глубокими стариками, а в 70-х годах XVIII века, наоборот, были совсем ещё детьми. И все же поездка оказалась плодотворной, что позволило Пушкину в дальнейшем написать не только первый исторический русский роман, но и отдельный труд — «Историю Пугачёвского бунта», который долгое время оставался единственным научным исследованием столь масштабного события. К публикации работу одобрил лично Николай I.

Параллельно с историей Пугачёва Пушкин работал над авантюрным романом, который так и остался не завершённым, написанным, судя по черновикам, лишь на две трети. Его опубликовали уже после гибели писателя. За неимением

авторского заглавия роман издали под названием «Дубровский», каким мы сейчас его и знаем. Роман не окончен, а потому сложно дать точную характеристику как самому Дубровскому, так и авторскому замыслу, закладываемому в этот образ, и всё же даже в таком незавершённом виде отчетливо прослеживается злободневность и новаторство, которые невозможно не считать со страниц «Дубровского».

В романе отчетливо прослеживаются две темы: бунта и мести. В «Дубровском» бунт возглавляет дворянин, потерявший всё, а крестьяне с привычной преданностью следуют за своим прежним помещиком, отказываясь признавать нового хозяина, который известен им как жестокий самодур. Конфликт в романе локальный, не выходящий за пределы одной губернии, но в итоге обернувшийся в довольно жестокое столкновение бунтовщиков с местной властью.

«Да это бунт!» — кричал исправник, когда крестьяне отказались признавать власть Троекурова, и был совершенно прав. Это бунт ущемленного народа против узурпаторов, именно поэтому так важен эпизод поджога Кистенёвки, имения Дубровского: кузнец Архип, вопреки приказу хозяина, закрывает приставов в доме, обрекая

на страшную смерть, но спасает кошку, «божью тварь», сам при этом получая сильные ожоги. Этой сценой Пушкин утверждает мысль, что терпение русского народа, такого противоречивого, жестокого и милосердного одновременно, не безгранично. Бунт может вспыхнуть в любую минуту, и тогда крестьянский гнев усмирить будет очень сложно.

Но предводителем крестьян-разбойников, Владимиром Дубровским, движет отнюдь не несогласие с социальной системой, а поруганная честь и личная обида, то есть месть, в которой с христианской точки зрения нет ничего благородного и высоконравственного, и скорее всё сводится к стандартной варварской формуле «око за око, зуб за зуб». Придавая Дубровскому черты романтического образа Робина Гуда, Пушкин, тем не менее, противопоставляет этих героев. Английский благородный разбойник, хоть тоже по некоторым версиям считающийся «дворянином вне закона», всё же грабил богатых и раздавал деньги бедным из чувства справедливости. Владимира же в финальных сценах читатель видит в походном лагере, украшенном дорогими вещицами. В тексте говорится, что Дубровский проявлял великодушие, но не поясняется, какого

рода было это великодушие и как оно проявлялось во время поджогов и разбойных нападений. Мстительность же главного героя вдруг сменяется смирением из-за любви к дочери врага, но вряд ли такие высокодуховные порывы могли оценить крестьяне, ушедшие в лес и создавшие под его предводительством разбойничью банду в надежде на восстановление справедливости.

Любовь заставила отказаться Владимира от плана мести. Искреннее чувство пробуждает в молодом страстном сердце чувства сострадания и жалости, вдруг напомнившие, что он в первую очередь христианин, а уже потом — оскорблённый разорившийся помещик. Эта как будто излишняя чувствительность типизирует Дубровского, делает его похожим на героев сентиментальных романов, которыми зачитывалась Маша Троекурова, но это лишь одна из составляющих образа молодого дворянина. В финале он довольно грубо прощается со своими крестьянами, которые ради него вступили на преступный путь. Дубровский жёстко заявляет им, что все они мошенники, и просто уходит, так и не поняв, во имя чего они взбунтовались.

Это недопонимание между благородными дворянами и простым народом стало камнем

преткновения в момент восстания декабристов: движимые благородными целями и вознамерившиеся ограничить власть императора, молодые романтики-декабристы по-прежнему свысока смотрели на крестьян, которым так пламенно жаждали подарить свободу. И народ за ними не пошёл. А вот за Пугачёвым пошёл.

Название романа «Капитанская дочка» нелогично. При всей симпатии к Маше Мироновой, при всём внимании к её семье, всё же читатель понимает, что не её история выводится на первый план, хотя играет важную роль в сюжете. Это название — отвлекающий манёвр. Оно позволяет сместить фокус внимания с глобальных исторических событий на судьбы простых людей, чем смягчает восприятие текста и позволяет обойти цензуру, чтобы роман напечатали без существенных переработок. Капитанская дочка Маша Миронова, безусловно, милая девушка, воплощающая пушкинский идеал русской женщины, но далеко не её личность будоражит воображение автора.

Известно, что у романа было пять редакций. Пушкин выстраивал сюжет, потом его перерабатывал, выводил в главные герои то одного персонажа, то другого. Изначально в основу про-

изведения лёг образ дворянина, перешедшего на сторону народа. Но чем больше Пушкин работал над текстом, тем больше убеждался в невозможности подобного союза, в неправильности его изображения с положительной точки зрения. В итоге получился роман о сложных, противоречивых отношениях дворянина Петра Гринёва и самозванца Емельяна Пугачёва, которые выстраивают серьёзный для Пушкина дискурс о связи власти и народа.

Пугачёв тоже изображается как романтический герой: внешность его то свирепа и страшна в своем бунтарском величии, то «черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого». Он запросто казнит непокорных, но способен и на невиданную милость к врагу, заявляя «казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай» только лишь потому, что когда-то молодой дворянин отблагодарил его за услугу и подарил заячий тулуп. Пугачёв велит петь его любимую песню о виселице, и её распевают казаки, обречённые на повешение. В яркой сцене застолья после взятия Белогорской крепости и жестокой расправы над её защитниками проявляется вся противоречивость бунтовщиков: они красивы,

сильны, молоды, харизматичны, даже отчасти благородны и честны в своем праведном гневе за многовековое ущемление прав и свобод простого народа, но они же — убийцы, мародёры, насильники, прекрасно осознающие, что свою жизнь окончат на эшафоте.

Петр Гринёв выступает здесь даже не столько в роли главного героя, сколько в роли наблюдателя. Он — глаза и уши автора, его восприятие — это восприятие автора, а противоречивое отношение к Пугачёву и его шайке — это взгляд Пушкина на личность Пугачёва, страшную в своем распутстве, но прекрасную в свободолюбии. Среди бунтовщиков постоянно упоминаются не только казаки, но и крестьяне и местное население Сибири — казахи, башкирцы, татары, калмыки. Пушкин рисует широкую картину восстания, вспыхнувшего по причине множества социальных проблем; власть игнорировала эти проблемы, и в конце концов ей пришлось увидеть страшные последствия своей слепоты.

Все остальные образы и панорама исторических событий дана в чрезмерно реалистичном ключе: страшные казни, насилие, мародёрство, разграбленные города и крепости, зверски убитые люди. Стихия бунта вышла из-под контроля,

превратившись в сплошной хаос, остановить который сам Пугачёв был не в состоянии.

«Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный»,– цитата, которая во многом отражает пушкинское представление о стихии русского бунта и исторических событиях, его породивших. *Русский бунт бессмысленен*, ибо не имел никакого плана, творился спонтанно и проистекал лишь из желания угнетённой части населения отомстить власть имущим, при этом не имея никакой достойной конечной цели, являясь лишь стихийным проявлением эмоций и выплеском агрессии. *Русский бунт беспощаден*, потому что, осуществляясь во имя мести, несёт лишь разрушение, ничего не создавая, никого не жалея. Пушкин не был против бунтов как таковых, но против того безрассудства и анархии, которые сопровождали восстание Пугачёва, потому что насилие и жестокость становятся нормой, обыденностью, забываются основополагающие нравственные ценности, такие как жалость, сострадание, милосердие.

Лучше всего разница мировоззрений дворянина и бунтовщиков видна в их реакции на калмыцкую сказку об орле и вороне. Пугачёв и его последователи считают, что они «напиваются

кровью», не желая питаться мертвечиной, в то время как для Гринёва их разбой и насилие и есть мертвечина. Одинакового взгляда на притчу у людей, принадлежащих к разным сословиям, априори быть не может, но тем сильнее подчеркивается та пропасть и непонимание, которые существовали в России между властью и народом.

Конечно, исторические личности в романе — это не реальные люди, когда-то живущие и творящие историю. «Капитанская дочка» — это художественное переосмысление эпохи, на которую легла печать пушкинской современности. Именно поэтому так важны образы Петра и Маши. Они выходцы из разных социальных слоёв: Гринёв — потомственный дворянин, Маша — дочь бывшего солдата, выходца из крестьянской семьи. Они оба молоды, чисты, влюблены и искренни в своих помыслах. Первому благоволит народный царь, второй отдает дань уважения «природная» императрица. В этом завуалирована главная мысль Пушкина: если беречь честь смолоду, то судьба будет благоволить вне зависимости от происхождения, а значит, при всей разнице между дворянами и простым народом, все они — русские люди, и может быть, не такая

уж и большая пропасть лежит между ними.

*Татьяна Шипилова*

# Капитанская дочка

*Береги честь смолоду.*
***Пословица***

# Глава I
# Сержант гвардии

*– Был бы гвардии он завтра ж капитан.*

*– Того не надобно: пусть в армии послужит.*

*– Изрядно сказано! Пускай его потужит…*

*.....*

*Да кто его отец?*

***Княжнин***[1]

Отец мой, Андрей Петрович Гринёв, в молодости своей служил при графе Минихе[2] и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. С тех пор жил он в своей симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сёстры умер-

---

**[1] Примечания: 1**

Княжнин Я. Б. (1742–1791) — поэт и драматург. Эпиграф взят из его комедии «Хвастун».

**[2] Примечания: 2**

Миних Х. А. (1683–1767) — фельдмаршал, в 1735–1739 годах руководил военными действиями против Турции.

ли во младенчестве. Матушка была ещё мною брюхата, как уже я был записан в Семёновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если бы, паче всякого чаяния, матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук[3]. В то время воспитывались мы не по-нонешнему. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному[4] Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки[5]. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. В то время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельи-

---

**[3] Примечания: 3**

«Я считался в отпуску до окончания наук». — Со времён Петра I дворяне для получения офицерского чина должны были сначала служить рядовыми в гвардейских полках. В обход этого закона дворяне зачисляли своих сыновей на военную службу с самого раннего детства, чтобы к моменту совершеннолетия они получили офицерский чин.

**[4] Примечания: 4**

Стремянный — крепостной слуга, ухаживавший за лошадью барина; в псовой охоте обычно ведал сворой барских охотничьих собак.

**[5] Примечания: 5**

Дядька — крепостной слуга-воспитатель.

чу. «Слава Богу, — ворчал он про себя, — кажется, дитя умыт, причёсан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало!»

Бопре в отечестве своём был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию pour être outchitel[6], не очень понимая значение этого слова. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главною его слабостию была страсть к прекрасному полу; нередко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он (по его выражению) и *врагом бутылки*, то есть (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причём учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привык к русской настойке и даже стал предпочитать её винам своего отечества, как не в пример более полезную для желудка. Мы тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня *по-французски, по-немецки и всем наукам,* но он предпочёл наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски, — и потом каждый из нас

---

**[6] Примечания: 6**
Чтобы стать учителем *(фр.)*.

занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю.

Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье, обольстившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила и пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналью француза. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошёл в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из неё змей и, пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошёл в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дёрнул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. Бопре в смятении хотел было привстать и не мог: несчастный француз

был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же день прогнал со двора, к неописанной радости Савельича. Тем и кончилось моё воспитание.

Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась.

*Слово «недоросль» ассоциируется у современного читателя с образом ленивого, грубого, невежественного юноши Митрофана Простакова из пьесы «Недоросль» Д. И. Фонвизина. Хотя само понятие довольно безобидно и означает лишь молодого человека, ещё не достигшего совершеннолетия, не окончившего образования и не поступившего на службу. Пушкин о пьесе отзывался как о «единственном памятнике народной сатиры», поэтому не мог не понимать, какой рисует характер своему персонажу, называя его недорослем. Но важно, что так себя называет сам Петя Гринёв, тем искреннее становится его отношение к себе: он самокритичен, не склонен к самолюбованию и очень четко понимает собственные пороки.*

Однажды осенью матушка варила в гостиной

медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придворный календарь[7], ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он её без особенного участия, и чтение это производило в нём всегда удивительное волнение желчи. Матушка, знавшая наизусть все его свычаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подалее, и таким образом Придворный календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато когда он случайно его находил, то, бывало, по целым часам не выпускал уж из своих рук. Итак, батюшка читал Придворный календарь, изредка пожимая плечами и повторяя вполголоса: «Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!.. Обоих российских орденов кавалер!..[8] А давно ли мы…» Наконец батюшка швырнул календарь на диван и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.

---

**[7] Примечания: 7**

Придворный календарь — ежегодное официальное издание, в котором, помимо общих календарных сведений, печатались списки высших военных и гражданских чинов.

**[8] Примечания: 8**

«Обоих российских орденов кавалер!..» — то есть награждённый двумя высшими орденами царской России: Андрея Первозванного и Александра Невского.

Вдруг он обратился к матушке:

— Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?

— Да вот пошёл семнадцатый годок, — отвечала матушка. — Петруша родился в тот самый год, как окривела тётушка Настасья Гарасимовна, и когда ещё…

— Добро, — прервал батюшка, — пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим да лазить на голубятни.

Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку и слёзы потекли по её лицу. Напротив того, трудно описать моё восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, было верхом благополучия человеческого.

Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги.

— Не забудь, Андрей Петрович, — сказала матушка, — поклониться и от меня князю Б.; я, дескать, надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями.

— Что за вздор! — отвечал батюшка нахмурясь. — К какой стати стану я писать к князю Б.?

— Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши?

— Ну, а там что?

— Да ведь начальник Петрушин — князь Б. Ведь Петруша записан в Семёновский полк.

— Записан! А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он, служа в Петербурге? Мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон[9]. Записан в гвардии! Где его пашпорт? Подай его сюда.

Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в её шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащею рукою. Батюшка прочёл его со вниманием, положил перед собою на стол и начал своё письмо.

Любопытство меня мучило: куда ж отправляют меня, если уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подо-

---

**[9] Примечания: 9**

Шамато́н — бездельник, пустой, никчёмный человек.

звав меня, сказал: «Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством».

*Наставления батюшки, данные как будто между делом, тем не менее становятся ключевыми для Петра Гринёва и определят в дальнейшем весь его жизненный путь. Береги честь, храни собственное достоинство, не унижайся, служи, но не прислуживайся — таков кодекс воспитания детей, которому следовали благородные, достойные дворяне.*

Итак, все мои блестящие надежды рушились! Вместо весёлой петербургской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдалённой. Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастием. Но спорить было нечего. На другой день поутру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в неё чемодан, погребец[10] с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне: «Прощай, Пётр. Служи верно, кому присягнёшь;

---

**[10] Примечания: 10**

Погребе́ц — дорожный сундучок для еды и посуды.

слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду». Матушка в слезах наказывала мне беречь моё здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь слезами.

В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по лавкам. Соскуча глядеть из окна на грязный переулок, я пошёл бродить по всем комнатам. Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина лет тридцати пяти, с длинными чёрными усами, в халате, с киём в руке и с трубкой в зубах. Он играл с маркёром[11], который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под биллиард на четвереньках. Я стал смотреть на их игру. Чем долее она продолжалась, тем прогулки на четвереньках становились чаще, пока наконец маркёр остался под биллиардом.

---

**[11] Примечания: 11**
Маркёр — служитель при биллиарде.

Барин произнёс над ним несколько сильных выражений в виде надгробного слова и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, по-видимому, странно. Он поглядел на меня как бы с сожалением; однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иваном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр гусарского полку[12] и находится в Симбирске при приёме рекрут, а стоит в трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе чем Бог послал, по-солдатски. Я с охотою согласился. Мы сели за стол. Зурин пил много и потчевал и меня, говоря, что надобно привыкать ко службе; он рассказывал мне армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали из-за стола совершенными приятелями. Тут вызвался он выучить меня играть на биллиарде. «Это, — говорит он, — необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придёшь в местечко — чем прикажешь заняться? Ведь не всё же бить жидов. Поневоле пойдёшь в трактир и станешь играть на биллиарде; а для того надобно уметь играть!» Я совершенно был убеждён и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко

**[12] Примечания: 12**

«Ротмистр гусарского полку…» — офицерский чин в гусарском (кавалерийском) полку, соответствовал чину капитана в пехоте.

ободрял меня, дивился моим быстрым успехам и, после нескольких уроков, предложил мне играть в деньги, по одному грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробовать, повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без пуншу что и служба! Я послушался его. Между тем игра наша продолжалась. Чем чаще прихлёбывал я от моего стакана, тем становился отважнее. Шары поминутно летали у меня через борт; я горячился, бранил маркёра, который считал Бог ведает как, час от часу умножал игру, словом — вёл себя, как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незаметно. Зурин взглянул на часы, положил кий и объявил мне, что я проиграл сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои были у Савельича. Я стал извиняться. Зурин меня прервал: «Помилуй! Не изволь и беспокоиться. Я могу и подождать, а покамест поедем к Аринушке».

Что прикажете? День я кончил так же беспутно, как и начал. Мы отужинали у Аринушки. Зурин поминутно мне подливал, повторяя, что надобно к службе привыкать. Встав из-за стола, я чуть держался на ногах; в полночь Зурин отвёз меня

в трактир.

Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе. «Что это, сударь, с тобою сделалось? — сказал он жалким голосом, — где ты это нагрузился? Ахти Господи! отроду такого греха не бывало!» — «Молчи, хрыч! — отвечал я ему запинаясь, — ты, верно, пьян, пошёл спать… и уложи меня».

На другой день я проснулся с головною болью, смутно припоминая себе вчерашние происшествия. Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая. «Рано, Пётр Андреич,– сказал он мне, качая головою,– рано начинаешь гулять. И в кого ты пошёл? Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего: отроду, кроме квасу, в рот ничего не изволили брать. А кто всему виноват? проклятый мусье. То и дело, бывало, к Антипьевне забежит: „Мадам, же ву при[13], водкю“. Вот тебе и же ву при! Нечего сказать: добру наставил, собачий сын. И нужно было нанимать в дядьки басурмана, как будто у барина не стало и своих людей!»

Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал ему:

---

**[13] Примечания: 13**

Же ву при (*фр.* je vous prie) — прошу вас.

«Поди вон, Савельич; я чаю не хочу». Но Савельича мудрено было унять, когда, бывало, примется за проповедь. «Вот видишь ли, Пётр Андреич, каково подгуливать. И головке-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пьющий ни на что не годен… Выпей-ка огуречного рассолу с мёдом, а всего бы лучше опохмелиться полстаканчиком настойки. Не прикажешь ли?»

В это время мальчик вошёл и подал мне записку от И. И. Зурина. Я развернул её и прочёл следующие строки:

«Любезный Пётр Андреевич, пожалуйста пришли мне с моим мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах.

Готовый ко услугам *Иван Зурин*».

Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный и, обратясь к Савельичу, который был *и денег, и белья, и дел моих рачитель*, приказал отдать мальчику сто рублей. «Как! зачем?» — спросил изумлённый Савельич. «Я их ему должен», — отвечал я со всевозможной холодностью. «Должен! — возразил Савельич, час от часу приведённый в большее изумление, — да когда же, сударь, успел ты ему задолжать? Дело что-то неладно. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам».

Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю упрямого старика, то уж в последствии времени трудно мне будет освободиться от его опеки, и, взглянув на него гордо, сказал: «Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне вздумалось. А тебе советую не умничать и делать то, что тебе приказывают».

Савельич так был поражён моими словами, что сплеснул руками и остолбенел. «Что же ты стоишь!» — закричал я сердито. Савельич заплакал. «Батюшка Пётр Андреич, — произнёс он дрожащим голосом, — не умори меня с печали. Свет ты мой! послушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто рублей! Боже Ты милостивый! Скажи, что тебе родители крепко-накрепко заказали не играть, кроме как в орехи…» — «Полно врать, — прервал я строго, — подавай сюда деньги, или я тебя взашей прогоню».

*В этой очень важной сцене для всего последующего сюжета Пушкин сталкивает два мировоззрения: дворянское и крестьянское. Савельичу, крепостному мужику, непонятно, почему молодой барин упрямится и даже грубит ему, старому преданному слуге, из-за долга какому-*

*то постороннему офицеру. В то время как для Гринёва очевидно: игровой долг — это долг чести, который не отдать невозможно, если хочешь заработать репутацию честного, благородного человека. Вторым важным фактором является желание Петра принять самостоятельное решение, показать, что он повзрослел и теперь несет ответственность за свои поступки, даже не самые положительные.*

Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошёл за моим долгом. Мне было жаль бедного старика; но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребёнок. Деньги были доставлены Зурину. Савельич поспешил вывезти меня из проклятого трактира. Он явился с известием, что лошади готовы. С неспокойной совестию и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не простясь с моим учителем и не думая с ним уже когда-нибудь увидеться.

## Глава II
## Вожатый

*Сторона ли моя, сторонушка,*
*Сторона незнакомая!*
*Что не сам ли я на тебя зашёл,*
*Что не добрый ли да меня конь завёз:*
*Завезла меня, доброго молодца,*
*Прытость, бодрость молодецкая*
*И хмелинушка кабацкая.*

***Старинная песня***

Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой, по тогдашним ценам, был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение моё в симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя виноватым перед Савельичем. Всё это меня мучило. Старик угрюмо сидел на облучке, отворотясь от меня, и молчал, изредка только покрякивая. Я непременно хотел с ним помириться и не знал, с чего начать. Наконец я сказал ему: «Ну, ну, Савельич! полно,

помиримся, виноват; вижу сам, что виноват. Я вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. Обещаюсь вперёд вести себя умнее и слушаться тебя. Ну не сердись; помиримся».

— Эх, батюшка Пётр Андреич! — отвечал он с глубоким вздохом. — Сержусь-то я на самого себя; сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире! Что делать? Грех попутал: вздумал забрести к дьячихе, повидаться с кумою. Так-то: зашёл к куме да засел в тюрьме. Беда, да и только!.. Как покажусь я на глаза господам? что скажут они, как узнают, что дитя пьёт и играет.

Чтоб утешить бедного Савельича, я дал ему слово впредь без его согласия не располагать ни одной копейкою. Он мало-помалу успокоился, хотя всё ещё изредка ворчал про себя, качая головою: «Сто рублей! легко ли дело!»

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересечённые холмами и оврагами. Всё покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или, точнее, по следу, проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал:

— Барин, не прикажешь ли воротиться?

— Это зачем?

— Время ненадёжно: ветер слегка подымается; вишь, как он сметает порошу.

— Что ж за беда!

— А видишь там что? (Ямщик указал кнутом на восток.)

— Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.

— А вон — вон: это облачко.

Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдалённый холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран.

Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно со мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен; я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее.

Ямщик поскакал; но всё поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошёл мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение тёмное небо

смешалось со снежным морем. Всё исчезло. «Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!..»

Я выглянул из кибитки: всё было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностию, что казался одушевлённым; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом — и скоро стали.

«Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика с нетерпением. «Да что ехать?– отвечал он, слезая с облучка,– невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом». Я стал было его бранить. Савельич за него заступился. «И охота было не слушаться,– говорил он сердито,– воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу!» Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая упряжь. Савельич ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила[14] или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели... Вдруг увидел я что-то чёрное. «Эй, ямщик! — закричал я, — смотри:

---

**[14] Примечания: 14**
Жило — жильё, населённое место.

что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться. «А Бог знает, барин, — сказал он, садясь на своё место, — воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк, или человек».

Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком.

*Первое появление главного антагониста соответствует антуражу романтического героя: ночь, буран, трудности в пути, и только он один способен спасти затерянных путников. Но метель здесь и предвестник страшных событий предстоящей Крестьянской войны, и символ будущего произвола и русского бунта.*

— Гей, добрый человек! — закричал ему ямщик. — Скажи, не знаешь ли, где дорога?

— Дорога-то здесь; я стою на твёрдой полосе, — отвечал дорожный, — да что толку?

— Послушай, мужичок, — сказал я ему, — знаешь ли ты эту сторону? Возьмёшься ли ты довести меня до ночлега?

— Сторона мне знакомая, — отвечал дорожный, — слава Богу, исхожена и изъезжена вдоль и поперёк. Да, вишь, какая погода: как раз собьёшься с дороги. Лучше здесь остановиться да

переждать, авось буран утихнет да небо прояснится; тогда найдём дорогу по звёздам.

Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав себя Божией воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: «Ну, слава Богу, жило недалеко; сворачивай вправо да поезжай».

— А почему мне ехать вправо? — спросил ямщик с неудовольствием. — Где ты видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой. — Ямщик казался мне прав. «В самом деле, — сказал я, — почему думаешь ты, что жило недалече?» — «А потому, что ветер оттоле потянул, — отвечал дорожный, — и я слышу, дымом пахнуло; знать, деревня близко». Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь в мои бока. Я опустил циновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды.

Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто

пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня: ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам.

Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран ещё свирепствовал и мы ещё блуждали по снежной пустыне… Вдруг увидел я вороты и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первою мыслию моею было опасение, чтоб батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую и не почёл бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу: матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише, — говорит она мне, — отец болен при смерти и желает с тобою проститься». Поражённый страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постели; матушка приподымает полог и говорит: «Андрей Петрович, Петруша приехал; он воротился, узнав о твоей болезни; благослови его». Я стал на колени и

устремил глаза мои на больного. Что ж?.. Вместо отца моего вижу в постели лежит мужик с чёрной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: «Что это значит? Это не батюшка. И с какой мне стати просить благословения у мужика?» — «Всё равно, Петруша, — отвечала мне матушка, — это твой посажёный отец, поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит...» Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мёртвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойсь, подойди под моё благословение...» Ужас и недоумение овладели мною... И в эту минуту я проснулся; лошади стояли; Савельич дёргал меня за руку, говоря: «Выходи, сударь: приехали».

*Эпизод сна ярко показывает развивающийся пушкинский психологизм, который вступает в синтез с приемом проспекции, т.е. авторским намеком на то, что произойдет в будущем. Сон Гринёва похож на кошмар, который совмещает в себе впечатления от прошедшего дня («буран ещё свирепствовал», «мужик с черною бородою»);*

*переживания, связанные с отъездом из дома (возможная болезнь отца, просьбы матушки); будущие, пока ещё неясные для героя, но уже назревающие события: намеки на бунт (мужик, который машет топором во все стороны, мертвые тела, кровавые лужи), на близкие отношения с Пугачёвым (мужик назван во сне посаженым отцом, т.е. он выполняет роль отца жениха во время свадебного обряда). Прием контраста («**страшный** мужик **ласково** меня кликал») подчеркивает противоречивость, неоднозначность будущих отношений между Петром и Пугачёвым.*

— Куда приехали? — спросил я, протирая глаза.

— На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на забор. Выходи, сударь, скорее да обогрейся.

Я вышел из кибитки. Буран ещё продолжался, хотя с меньшею силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввёл меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала её. На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка.

Хозяин, родом яицкий казак[15], казался мужик лет шестидесяти, ещё свежий и бодрый. Савельич внёс за мною погребец, потребовал огня, чтоб готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошёл хлопотать.

— Где же вожатый? — спросил я у Савельича.

«Здесь, ваше благородие», — отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати и увидел чёрную бороду и два сверкающие глаза. «Что, брат, прозяб?» — «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке!

*Обращение „брат“ к мужику подчеркивает простоту, отзывчивость и желание Петра позаботиться о человеке, который сопроводил его на постоялый двор. Это кажется мелочью, но для простого люда такое отношение благородного дворянина считалось милостью, хотя сам Гринёв не видит в своих действиях ничего неприемлемого, он даже подносит провожатому чашку чаю, для него это обычная вежливость. На самом деле такое поведение удивительно: молодой барин не должен так себя вести. Пушкин же создает образ благородного юноши, который не гнушается услужить обычному казаку и оказывается*

**[15] Примечания: 15**

Яицкие казаки — казаки, жившие по берегам реки Яика, переименованной после восстания Пугачёва в Урал.

*настолько близок к народу, что обращается к провожатому как к равному себе: „Что, брат, прозяб?“*

Был тулуп, да что греха таить? заложил вечор у целовальника[16], мороз показался не велик». В эту минуту хозяин вошёл с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему чашку чаю; мужик слез с полатей. Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В чёрной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нём был оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднёс ему чашку чаю; он отведал и поморщился. «Ваше благородие, сделайте мне такую милость,– прикажите поднести стакан вина; чай не наше казацкое питьё». Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца[17] штоф и стакан, подошёл к нему и, взглянув ему в лицо: «Эхе, — сказал он, — опять ты в нашем краю! Отколе Бог принёс?» Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою:

---

**[16] Примечания: 16**
Целовальник — продавец в винной лавке (кабаке).

**[17] Примечания: 17**
Ставе́ц (поставец) — стенной шкаф для посуды.

«В огород летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком — да мимо. Ну, а что ваши?»

— Да что наши! — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. — Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте.

«Молчи, дядя, — возразил мой бродяга, — будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье!» При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне и воротился на полати.

Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уже догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмирённого после бунта 1772 года[18]. Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый двор, или, по-тамошнему, *умёт*, находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань. Но делать было нечего. Нельзя

---

**[18] Примечания: 18**

Бунт 1772 года — восстание казачьей массы, во время которого был перебит правительственный отряд. Восстание было усмирено войсками Екатерины II.

было и подумать о продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забавляло. Между тем я расположился ночевать и лёг на лавку. Савельич решился убраться на печь; хозяин лёг на полу. Скоро вся изба захрапела, и я заснул как убитый.

Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению, и вчерашние подозрения изгладились совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помочь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. «Полтину на водку! — сказал он, — за что это? За то, что ты же изволил подвезти его к постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придётся голодать». Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении. Мне было досадно, однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня если не из беды, то, по крайней мере, из очень

неприятного положения. «Хорошо, — сказал я хладнокровно, — если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп».

— Помилуй, батюшка Пётр Андреич! — сказал Савельич. — Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьёт, собака, в первом кабаке.

— Это, старинушка, уж не твоя печаль, — сказал мой бродяга, — пропью ли я или нет. Его благородие мне жалует шубу со своего плеча: его на то барская воля, а твоё холопье дело не спорить и слушаться.

— Бога ты не боишься, разбойник! — отвечал ему Савельич сердитым голосом. — Ты видишь, что дитя ещё не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напялишь его на свои окаянные плечища.

— Прошу не умничать, — сказал я своему дядьке, — сейчас неси сюда тулуп.

— Господи Владыко! — простонал мой Савельич. — Заячий тулуп почти новёшенький! и добро бы кому, а то пьянице оголелому!

Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле, тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко

для него узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, ваше благородие! Награди вас Господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей». Он пошёл в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своём вожатом и о заячьем тулупе.

*Эпизод с заячьим тулупом стал важным не только для пушкинского романа, но и для всей русской литературы: предмет одежды становится символом. В дальнейшем это произойдёт с шинелью гоголевского Акакия Акакиевича и с пальто чеховского Беликова. Здесь же заячий тулуп — символ благодарности и благородства, который навсегда соединит бродягу и самозванца с дворянином и офицером.*

Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину росту высокого, но уже сгорбленного старостию. Длинные волосы его были совсем белы. Старый полинялый мундир напоминал воина времён Анны Иоанновны, а в его речи сильно отзывался немецкий выговор.

Я подал ему письмо от батюшки. При имени его он взглянул на меня быстро: «Поже мой!– сказал он.– Тавно ли, кажется, Андрей Петрович был ешё твоих лет, а теперь вот уш какой у него молотец! Ах, фремя, фремя!» Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, делая свои замечания. «Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство»... Это что за серемонии? Фуй, как ему не софестно! Конечно: дисциплина перво дело, но так ли пишут к старому камрад?..[19] «ваше превосходительство не забыло»... гм... «и... когда... покойным фельдмаршалом Мин... походе... также и... Каролинку»... Эхе, брудер![20] так он ешё помнит стары наши проказ? «Теперь о деле... К вам моего повесу»... гм... «держать в ежовых рукавицах»... Что такое ешовы рукавиц? Это, должно быть, русска поговорк... Что такое «дершать в ешовых рукавицах?» — повторил он, обращаясь ко мне.

— Это значит, — отвечал я ему с видом как можно более невинным, — обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать в ежовых рукавицах.

---

**[19] Примечания: 19**
Камра́д *(нем.)* — товарищ.

**[20] Примечания: 20**
Брудер *(нем.)* — брат.

— Гм, понимаю… «и не давать ему воли»… нет, видно, ешовы рукавицы значит не то… «При сем… его паспорт»… Где ж он? А, вот… «отписать в Семёновский»… Хорошо, хорошо: всё будет сделано… «Позволишь без чинов обнять себя и… старым товарищем и другом» — а! наконец догадался… и прочая и прочая… Ну, батюшка, — сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт, — всё будет сделано: ты будешь офицером переведён в *** полк, и чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь в команде капитана Миронова, доброго и честного человека. Там ты будешь на службе настоящей, научишься дисциплине. В Оренбурге делать тебе нечего; рассеяние вредно молодому человеку. А сегодня милости просим: отобедать у меня.

«Час от часу не легче!– подумал я про себя,– к чему послужило мне то, что ещё в утробе матери я был уже гвардии сержантом! Куда это меня завело? В *** полк и в глухую крепость на границу киргиз-кайсацких[21] степей!..» Я отобедал у Андрея Карловича, втроём с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за

**[21] Примечания: 21**

Киргиз-кайсацкие степи — так называли область к востоку от реки Урал. Казахов в то время называли киргизцами.

его столом, и я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя за своею холостою трапезою был отчасти причиною поспешного удаления моего в гарнизон. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего назначения.

# Глава III
# Крепость

*Мы в фортеции[22] живём,*
*Хлеб едим и воду пьём;*
*А как лютые враги*
*Придут к нам на пироги,*
*Зададим гостям пирушку:*
*Зарядим картечью пушку.*

***Солдатская песня***

*Старинные люди, мой батюшка.*

***Недоросль*[23]**

Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река ещё не замерзала, и её свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частию печальные. Гарнизонная жизнь

---

**[22] Примечания: 22**

Фортеция — старинное название небольшой крепости, укрепления.

**[23] Примечания: 23**

Второй эпиграф взят Пушкиным из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль».

мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» — спросил я у своего ямщика. «Недалече, — отвечал он. — Вон уж видна». Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окружённой бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесённые снегом; с другой — скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» — спросил я с удивлением. «Да вот она», — отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в неё въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

*Пейзаж и вид крепости совершенно неприме-*

*чательны, но тем сильнее оказывается эффект от героизма, который проявляют люди во время нападения многочисленного свирепого войска Пугачёва.*

Никто не встретил меня. Я пошёл в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зелёного мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка,– отвечал инвалид,– наши дома». Я вошёл в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина[24] и Очакова[25], также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» — спросила она, продолжая своё занятие. Я отвечал, что приехал на службу

**[24] Примечания: 24**

Кюстрин (Кистрин) — прусская крепость на реке Одере, которую в 1758 году, во время Семилетней войны, осаждала русская армия.

**[25] Примечания: 25**

Очаков — город на Днепре, в прошлом турецкая крепость, взятая русскими войсками в 1737 году. Окончательно Очаков отошёл к России после Русско-турецкой войны 1787–1791 годов.

и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет,– сказала она,– он пошёл в гости к отцу Герасиму; да всё равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника[26]. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить,– сказал он,– вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить,– продолжал он,– зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно[27], за неприличные гвардии офицеру поступки», — продолжал неутомимый вопрошатель. «Полно врать пустяки, — сказала ему капитанша, — ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя… (держи-ка руки прямее…) А ты, мой батюшка, — продолжала она, обращаясь ко мне, — не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний.

**[26] Примечания: 26**
Урядник — унтер-офицер в казачьих войсках русской царской армии.

**[27] Примечания: 27**
Чаятельно — вероятно, по-видимому.

Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведён за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да ещё при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».

*Василиса Егоровна, жена капитана Миронова, не понимает, зачем Швабрин «поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять», хотя для читателя тут все прозрачно: Швабрин убил человека на дуэли. Во времена Петра I дуэли были строжайше запрещены и предполагали смерть через повешение для обоих участников, неважно живы они или мертвы. Пушкин заранее вводит эту деталь, связанную с характером Швабрина, подчеркивая, что тот уже совершал убийство, а значит, к нему надо относиться с опаской.*

В эту минуту вошёл урядник, молодой и статный казак. «Максимыч! — сказала ему капитанша. — Отведи господину офицеру квартиру, да почище». — «Слушаю, Василиса Егоровна, — отвечал урядник. — Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?» — «Врёшь, Максимыч, —

сказала капитанша: — у Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи господина офицера… как ваше имя и отчество, мой батюшка? Пётр Андреич?.. Отведи Петра Андреича к Семёну Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну что, Максимыч, всё ли благополучно?»

— Всё, слава Богу, тихо,– отвечал казак,– только капрал[28] Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.

— Иван Игнатьич! — сказала капитанша кривому старичку. — Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. Ну, Максимыч, ступай себе с Богом. Пётр Андреич, Максимыч отведёт вас на вашу квартиру.

*Примечательно, что именно Василиса Егоровна решает, куда направить жить новоприбывшего, а также кто должен разбирать конфликт Прохорова с Устиньей, не дожидаясь возвращения мужа, в ведении которого должны быть подобные вопросы. Пушкин подчеркивает контрастную по сравнению с семьей Гринёвых обстановку у Мироновых: в доме Петра патриархат, отец не приемлет никаких возражений; в доме капитана*

---

**[28] Примечания: 28**

Капрал — первый чин после рядового в царской армии XVIII века.

*Миронова фактически матриархат, Василиса Егорова управляет и мужем, и крепостью «как и своим домком».*

Я откланялся. Урядник привёл меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьёю Семёна Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы, довольно опрятной, разделённой надвое перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осуждён я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошёл от окошка и лёг спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: «Господи Владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?»

На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась и ко мне вошёл молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня, — сказал он мне по-

французски, — что я без церемонии прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде; желание увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймёте, когда проживёте здесь ещё несколько времени». Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остёр и занимателен. Он с большой весёлостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошёл ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе.

Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фрунт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого росту, в колпаке и в китайчатом[29] халате. Увидя нас, он к нам подошёл, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы

**[29] Примечания: 29**
Китайчатый — из китайки, гладкой хлопчатобумажной ткани.

остановились было смотреть на учение; но он просил нас идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь, — прибавил он, — нечего вам смотреть».

Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мною, как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучился! — сказала комендантша. — Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?» Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачёсанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на неё с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава Богу, ученье не уйдёт; успеет накричаться». Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка? — сказала ему жена. — Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовёшься». — «А слышь ты, Василиса Егоровна, — отвечал Иван Кузмич, — я

был занят службой: солдатушек учил». — «И, полно! — возразила капитанша. — Только слава, что солдат учишь: ни им служба не даётся, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да Богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».

Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки триста душ крестьян, «легко ли! — сказала она, — ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка; да слава Богу, живём помаленьку. Одна беда: Маша; девка на выданье, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости Бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдётся добрый человек; а то сиди себе в девках вековечной невестою». Я взглянул на Марью Ивановну; она вся покраснела, и даже слёзы капнули на её тарелку. Мне стало жаль её, и я спешил переменить разговор. «Я слышал, — сказал я довольно некстати, — что на вашу крепость собираются напасть башкирцы». — «От кого, батюшка, ты изволил это слышать?» — спросил Иван Кузмич. «Мне так сказывали в Оренбурге», — отвечал я.

«Пустяки! — сказал комендант. — У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы — народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню». — «И вам не страшно, — продолжал я, обращаясь к капитанше, — оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» — «Привычка, мой батюшка, — отвечала она. — Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи Господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысьи шапки да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрёт! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».

— Василиса Егоровна прехрабрая дама, — заметил важно Швабрин. — Иван Кузмич может это засвидетельствовать.

— Да, слышь ты, — сказал Иван Кузмич, — баба-то не робкого десятка.

— А Марья Ивановна? — спросил я, — так же ли смела, как и вы?

— Смела ли Маша? — отвечала её мать. — Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому

два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки.

*Первая характеристика Маши получается не очень лестной: Швабрин называет ее чуть ли не дурочкой, собственная мать считает трусихой. Тем явственнее будет постепенно раскрываться образ капитанской дочки, которая окажется вовсе не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Выводя в центр конфликта Пугачёвский бунт, но называя произведение «Капитанская дочка», Пушкин сосредотачивает основное внимание читателя на судьбах двух юных влюбленных, чем обеспечивает интерес к их истории и дает себе чуть больше пространства для маневра, чтобы отобразить глобальные исторические события, на фоне которых происходит эта история любви.*

Мы встали из-за стола. Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошёл к Швабрину, с которым и провёл целый вечер.

# Глава IV
# Поединок

*– Ин изволь, и стань же в позитуру.*

*Посмотришь, проколю как я твою фигуру!*

***Княжнин*[30]**

Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною, но даже и приятною. В доме коменданта был я принят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные. Иван Кузмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его им управляла, что согласовалось с его беспечностию. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостию так точно, как и своим домком. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я в ней на-

---

**[30] Примечания: 30**

Эпиграф взят Пушкиным из комедии Я. Б. Княжнина «Чудаки». Позитура *(лат.)* — положение при фехтовании.

шёл благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы он был в непозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени правдоподобия; но Швабрин о том не беспокоился.

Я был произведён в офицеры. Служба меня не отягощала. В богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной охоте учил иногда своих солдат; но ещё не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая, хотя многие из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым оборотом клали на себя знамение креста. У Швабрина было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня и куда вечерком иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Памфиловной, первою вестовщицею во всём околотке. С А. И. Швабриным, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу беседа его становилась для меня менее приятною.

Всегдашние шутки его насчёт семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне. Другого общества в крепости не было, но я другого и не желал.

Несмотря на предсказания, башкирцы не возмущались. Спокойствие царствовало вокруг нашей крепости. Но мир был прерван незапным[31] междуусобием.

*В откровении Петра есть некоторая пушкинская ирония над собственным героем: сам Александр Сергеевич, признавая достоинства Сумарокова в драматургии, все же к моменту написания «Капитанской дочки» с точки зрения стиля не признавал за поэтом оригинальности и художественной ценности. Значит и стихи Гринёва, якобы оцененные впоследствии Сумароковым, вряд ли можно отнести к выдающимся. То же подмечает и Швабрин, ссылаясь на другого поэта XVIII в. — Тредиаковского, поэтическая репутация которого во времена Пушкина тоже подвергалась серьезным нападкам.*

Я уже сказывал, что я занимался литературою. Опыты мои, для тогдашнего времени, были

---

**[31] Примечания: 31**
Внезапным.

изрядны, и Александр Петрович Сумароков[32], несколько лет после, очень их похвалял. Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен. Известно, что сочинители иногда, под видом требования советов, ищут благосклонного слушателя. Итак, переписав мою песенку, я понёс её к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведения стихотворца. После маленького предисловия вынул я из кармана свою тетрадку и прочёл ему следующие стишки:

*– Мысль любовну истребляя,*
*Тщусь*[33] *прекрасную забыть,*
*И ах, Машу избегая,*
*Мышлю вольность получить!*
*Но глаза, что мя пленили,*
*Всеминутно предо мной;*
*Они дух во мне смутили,*
*Сокрушили мой покой.*

*Ты, узнав мои напасти,*
*Сжалься, Маша, надо мной;*

---

**[32] Примечания: 32**
Сумароков А. П. (1718–1777) — поэт и драматург.

**[33] Примечания: 33**
Тщусь — пытаюсь.

*Зря меня в сей лютой части*[34],
*И что я пленён тобой.*

Как ты это находишь? — спросил я Швабрина, ожидая похвалы, как дани, мне непременно следуемой. Но, к великой моей досаде, Швабрин, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша.

— Почему так? — спросил я его, скрывая свою досаду.

— Потому,– отвечал он,– что такие стихи достойны учителя моего, Василья Кирилыча Тредьяковского[35], и очень напоминают мне его любовные куплетцы.

Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу ему своих сочинений. Швабрин посмеялся и над этой угрозою. «Посмотрим, — сказал он, — сдержишь ли ты своё слово: стихотворцам нужен слушатель, как

---

**[34] Примечания: 34**

Зря — видя (зреть — видеть). Лютая часть — злая участь.

**[35] Примечания: 35**

Тредиаковский В. К. (1703–1769) — поэт, переводчик и учёный. Его стихи за неуклюжесть и тяжесть слога были часто предметом насмешек современников.

Ивану Кузмичу графинчик водки перед обедом. А кто эта Маша, перед которой изъясняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ль Ивановна?»

— Не твоё дело, — отвечал я нахмурясь, — кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок.

— Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный любовник! — продолжал Швабрин, час от часу более раздражая меня, — но послушай дружеского совета: коли ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками.

— Что это, сударь, значит? Изволь объясниться.

— С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтоб Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серёг.

Кровь моя закипела.

— А почему ты об ней такого мнения? — спросил я, с трудом удерживая своё негодование.

— А потому, — отвечал он с адскою усмешкою, — что знаю по опыту её нрав и обычай.

— Ты лжёшь, мерзавец! — вскричал я в бешенстве, — ты лжёшь самым бесстыдным образом.

Швабрин переменился в лице.

— Это тебе так не пройдёт, — сказал он, стиснув

мне руку. — Вы мне дадите сатисфакцию.

— Изволь; когда хочешь! — отвечал я, обрадовавшись. В эту минуту я готов был растерзать его.

*Часто неверно трактуют вспыльчивость Гринёва, полагая, что он обиделся на уничижительную характеристику его стихотворчества, но на самом деле злость Гринёва связана с тем, что Швабрин позволил себе непростительную клевету в адрес Маши Мироновой: она якобы согласится прийти ночью к мужчине за «пару серег». Прекрасно осознавая, что это ложь, Швабрин все же продолжает стоять на своем и вызывает Петра на дуэль, хотя прекрасно понимает, что в этой ситуации именно он ведет себя подло. Этот эпизод показывает, что Швабрин не сделал никаких выводов из своей ссылки в Сибирь и теперь снова близок к тому, чтобы совершить ещё одно убийство.*

Я тотчас отправился к Ивану Игнатьичу и застал его с иголкою в руках: по препоручению комендантши он нанизывал грибы для сушения на зиму. «А, Пётр Андреич! — сказал он, увидя меня, — добро пожаловать! Как это вас Бог принёс? по какому делу, смею спросить?» Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем

Иванычем, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьич выслушал меня со вниманием, вытараща на меня свой единственный глаз. «Вы изволите говорить, — сказал он мне, — что хотите Алексея Иваныча заколоть, и желаете, чтоб я при том был свидетелем? Так ли? смею спросить».

— Точно так.

— Помилуйте, Пётр Андреич! Что это вы затеяли! Вы с Алексеем Иванычем побранились? Велика беда! Брань на вороту не виснет. Он вас побранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье — и разойдитесь, а мы вас уж помирим. А то: доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить? И добро б уж закололи вы его: Бог с ним, с Алексеем Иванычем; я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит? На что это будет похоже? Кто будет в дураках, смею спросить?

Рассуждения благоразумного поручика не поколебали меня. Я остался при своём намерении. «Как вам угодно, — сказал Иван Игнатьич, — делайте как разумеете. Да зачем же мне тут быть свидетелем? К какой стати? Люди дерутся, что за невидальщина, смею спросить? Слава Богу, ходил я под шведа и под турку: всего насмотрелся».

Я кое-как стал изъяснять ему должность секунданта, но Иван Игнатьич никак не мог меня понять. «Воля ваша, — сказал он. — Коли уж мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к Ивану Кузмичу да донести ему по долгу службы, что в фортеции умышляется злодействие, противное казённому интересу: не благоугодно ли будет господину коменданту принять надлежащие меры…»

Я испугался и стал просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту; насилу его уговорил; он дал мне слово, и я решился от него отступиться.

Вечер провёл я, по обыкновению своему, у коменданта. Я старался казаться весёлым и равнодушным, дабы не подать никакого подозрения и избегнуть докучных вопросов; но, признаюсь, я не имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моём положении. В этот вечер я расположен был к нежности и к умилению. Марья Ивановна нравилась мне более обыкновенного. Мысль, что, может быть, вижу её в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное. Швабрин явился тут же. Я отвёл его в сторону и уведомил его о своём разговоре с Иваном Игнатьичем. «Зачем

нам секунданты, — сказал он мне сухо, — без них обойдёмся». Мы условились драться за скирдами, что находились подле крепости, и явиться туда на другой день в седьмом часу утра. Мы разговаривали, по-видимому, так дружелюбно, что Иван Игнатьич от радости проболтался. «Давно бы так, — сказал он мне с довольным видом, — худой мир лучше доброй ссоры, а и нечестен, так здоров».

— Что, что, Иван Игнатьич? — сказала комендантша, которая в углу гадала в карты, — я не вслушалась.

Иван Игнатьич, заметив во мне знаки неудовольствия и вспомня своё обещание, смутился и не знал, что отвечать. Швабрин подоспел к нему на помощь.

— Иван Игнатьич, — сказал он, — одобряет нашу мировую.

— А с кем это, мой батюшка, ты ссорился?

— Мы было поспорили довольно крупно с Петром Андреичем.

— За что так?

— За сущую безделицу: за песенку, Василиса Егоровна.

— Нашли за что ссориться! за песенку!.. да как же это случилось?

— Да вот как: Пётр Андреич сочинил недавно песню и сегодня запел её при мне, а я затянул мою любимую:

*Капитанская дочь, Не ходи гулять в полночь…*

Вышла разладица. Пётр Андреич было и рассердился; но потом рассудил, что всяк волен петь, что кому угодно. Тем и дело кончилось.

Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбесило; но никто, кроме меня, не понял грубых его обиняков; по крайней мере, никто не обратил на них внимания. От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство, как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее.

Присутствие Швабрина было мне несносно. Я скоро простился с комендантом и с его семейством; пришед домой, осмотрел свою шпагу, попробовал её конец и лёг спать, приказав Савельичу разбудить меня в седьмом часу.

На другой день в назначенное время я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. Вскоре и он явился. «Нас могут застать,– сказал

он мне,– надобно поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах[36] и обнажили шпаги. В эту минуту из-за скирда вдруг появился Иван Игнатьич и человек пять инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. Мы повиновались с досадою; солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатьичем, который вёл нас в торжестве, шагая с удивительной важностию.

Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатьич отворил двери, провозгласив торжественно: «привёл!» Нас встретила Василиса Егоровна. «Ах, мои батюшки! На что это похоже? как? что? в нашей крепости заводить смертоубийство! Иван Кузмич, сейчас их под арест! Пётр Андреич! Алексей Иваныч! подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги в чулан. Пётр Андреич! Этого я от тебя не ожидала. Как тебе не совестно? Добро Алексей Иваныч: он за душегубство и из гвардии выписан, он и в Господа Бога не верует; а ты-то что? туда же лезешь?»

Иван Кузмич вполне соглашался с своею супругою и приговаривал: «А слышь ты, Василиса

---

**[36] Примечания: 36**
Камзол — род жилета.

Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле[37]». Между тем Палашка взяла у нас наши шпаги и отнесла в чулан. Я не мог не засмеяться. Швабрин сохранил свою важность. «При всём моём уважении к вам,– сказал он ей хладнокровно,– не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузмичу: это его дело».– «Ах! мой батюшка!– возразила комендантша,– да разве муж и жена не един дух и едина плоть? Иван Кузмич! Что ты зеваешь? Сейчас рассади их по разным углам на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то прошла; да пусть отец Герасим наложит на них эпитимию[38], чтоб молили у Бога прощения да каялись перед людьми».

Иван Кузмич не знал, на что решиться. Марья Ивановна была чрезвычайно бледна. Мало-помалу буря утихла; комендантша успокоилась и заставила нас друг друга поцеловать. Палашка принесла нам наши шпаги. Мы вышли от коменданта, по-видимому примирённые. Иван

---

**[37] Примечания: 37**

Воинский артикул — свод законов об обязанностях и наказаниях за провинности воинских чинов.

**[38] Примечания: 38**

Эпитимия — церковное наказание (пост, длительная молитва и т. д.).

Игнатьич нас сопровождал. «Как вам не стыдно было, — сказал я ему сердито, — доносить на нас коменданту после того, как дали мне слово того не делать?» — «Как Бог свят, я Ивану Кузмичу того не говорил, — отвечал он, — Василиса Егоровна выведала всё от меня. Она всем и распорядилась без ведома коменданта. Впрочем, слава Богу, что всё так кончилось». С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я остались наедине. «Наше дело этим кончиться не может», — сказал я ему. «Конечно, — отвечал Швабрин, — вы своею кровью будете отвечать мне за вашу дерзость; но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания!» И мы расстались как ни в чём не бывало.

Возвратясь к коменданту, я, по обыкновению своему, подсел к Марье Ивановне. Ивана Кузмича не было дома; Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали вполголоса. Марья Ивановна с нежностью выговаривала мне за беспокойство, причинённое всем моею ссорою с Швабриным. «Я так и обмерла, — сказала она, — когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны! За одно слово, о котором через неделю, верно б, они

позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнию, но и совестию и благополучием тех, которые… Но я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно, виноват Алексей Иваныч».

— А почему же вы так думаете, Марья Ивановна?

— Да так… он такой насмешник! Я не люблю Алексея Иваныча. Он очень мне противен; а странно: ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх.

— А как вы думаете, Марья Ивановна? Нравитесь ли вы ему или нет?

Марья Ивановна заикнулась и покраснела.

— Мне кажется, — сказала она, — я думаю, что нравлюсь.

— Почему же вам так кажется?

— Потому что он за меня сватался.

— Сватался! Он за вас сватался? Когда же?

— В прошлом году. Месяца два до вашего приезда.

— И вы не пошли?

— Как изволите видеть. Алексей Иваныч, конечно, человек умный, и хорошей фамилии, и имеет состояние; но как подумаю, что надобно будет под венцом при всех с ним поцеловаться… Ни за что! ни за какие благополучия!

*В словах Маши о Швабрине кроется важный смысл понимания ее характера. Она — дочь простого бедного капитана, бесприданница — не могла рассчитывать не то что на удачную партию для замужества, а на какую-либо партию вообще, так как живет в дальней крепости, где приличных женихов нет. Сватовство Швабрина для Маши — прекрасная возможность выйти замуж за знатного человека, уехать впоследствии в Петербург и стать светской дамой. Но она не прельщается ни его знатностью, ни возможностями, которые перед ней откроются. Таким образом, становится понятно, что Маша лишена меркантильности, для нее важен не статус человека, не его финансовое состояние и успех в обществе, а характер и те чувства, которые он в ней вызывает.*

Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное злоречие, которым Швабрин её преследовал. Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показались мне ещё более гнусными, когда, вместо грубой и непристойной насмешки, увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сдела-

лось во мне ещё сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удобного случая.

Я дожидался недолго. На другой день, когда сидел я за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать? — сказал мне Швабрин, — за нами не смотрят. Сойдём к реке. Там никто нам не помешает». Мы отправились молча. Спустясь по крутой тропинке, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда; наконец приметя, что Швабрин ослабевает, я стал с живостию на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я своё имя, громко произнесённое. Я оглянулся и увидел Савельича, сбегающего ко мне по нагорной тропинке… В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча; я упал и лишился чувств.

## Глава V
## Любовь

*Ах ты, девка, девка красная!*
*Не ходи, девка, молода замуж;*
*Ты спроси, девка, отца, матери,*
*Отца, матери, роду-племени;*
*Накопи, девка, ума-разума,*
*Ума-разума, приданова.*

***Народная песня***

*Буде лучше меня найдёшь, позабудешь.*
*Если хуже меня найдёшь, вспомянешь.*

***То же***

Очнувшись, я несколько времени не мог опомниться и не понимал, что со мною сделалось. Я лежал на кровати, в незнакомой горнице, и чувствовал большую слабость. Передо мною стоял Савельич со свечкою в руках. Кто-то бережно развивал перевязи, которыми грудь и плечо были у меня стянуты. Мало-помалу мысли мои проясни-

лись. Я вспомнил свой поединок и догадался, что был ранен. В эту минуту скрыпнула дверь. «Что? каков?» — произнёс пошепту голос, от которого я затрепетал. «Всё в одном положении, — отвечал Савельич со вздохом, — всё без памяти, вот уже пятые сутки». Я хотел оборотиться, но не мог. «Где я? кто здесь?» — сказал я с усилием. Марья Ивановна подошла к моей кровати и наклонилась ко мне. «Что? как вы себя чувствуете?» — сказала она. «Слава Богу, — отвечал я слабым голосом. — Это вы, Марья Ивановна? скажите мне...» Я не в силах был продолжать и замолчал. Савельич ахнул. Радость изобразилась на его лице. «Опомнился! опомнился! — повторял он. — Слава Тебе, Владыко! Ну, батюшка Пётр Андреич! напугал ты меня! легко ли? пятые сутки!..» Марья Ивановна перервала его речь. «Не говори с ним много, Савельич, — сказала она. — Он ещё слаб». Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. Итак, я был в доме коменданта, Марья Ивановна входила ко мне. Я хотел сделать Савельичу некоторые вопросы, но старик замотал головою и заткнул себе уши. Я с досадою закрыл глаза и вскоре забылся сном.

Проснувшись, подозвал я Савельича и вместо его увидел перед собою Марью Ивановну; ан-

гельский голос её меня приветствовал. Не могу выразить сладостного чувства, овладевшего мною в эту минуту. Я схватил её руку и прильнул к ней, обливая слезами умиления. Маша не отрывала её… и вдруг её губки коснулись моей щеки, и я почувствовал их жаркий и свежий поцелуй. Огонь пробежал по мне. «Милая добрая Марья Ивановна, — сказал я ей, — будь моею женою, согласись на моё счастие». Она опомнилась. «Ради Бога, успокойтесь, — сказала она, отняв у меня свою руку. — Вы ещё в опасности: рана может открыться. Поберегите себя хоть для меня». С этим словом она ушла, оставя меня в упоении восторга. Счастие воскресило меня. Она будет моя! она меня любит! Эта мысль наполняла всё моё существование.

С той поры мне час от часу становилось лучше. Меня лечил полковой цирюльник[39], ибо в крепости другого лекаря не было, и, слава Богу, не умничал. Молодость и природа ускорили моё выздоровление. Всё семейство коменданта за мною ухаживало. Марья Ивановна от меня не отходила. Разумеется, при первом удобном случае я принялся за прерванное объяснение, и Марья

**[39] Примечания: 39**

Цирюльник — парикмахер; в то время цирюльник часто исполнял и обязанности врача.

Ивановна выслушала меня терпеливее. Она безо всякого жеманства призналась мне в сердечной склонности и сказала, что её родители, конечно, рады будут её счастию. «Но подумай хорошенько, — прибавила она, — со стороны твоих родных не будет ли препятствия?»

Я задумался. В нежности матушкиной я не сомневался, но, зная нрав и образ мыслей отца, я чувствовал, что любовь моя не слишком его тронет и что он будет на неё смотреть как на блажь молодого человека. Я чистосердечно признался в том Марье Ивановне и решился, однако, писать батюшке как можно красноречивее, прося родительского благословения. Я показал письмо Марье Ивановне, которая нашла его столь убедительным и трогательным, что не сомневалась в успехе его и предалась чувствам нежного своего сердца со всею доверчивостию молодости и любви.

Со Швабриным я помирился в первые дни моего выздоровления. Иван Кузмич, выговаривая мне за поединок, сказал мне: «Эх, Пётр Андреич! надлежало бы мне посадить тебя под арест, да ты уж и без того наказан. А Алексей Иваныч у меня таки сидит в хлебном магазине под караулом, и шпага его под замком у Василисы Егоровны. Пускай он

себе надумается да раскается». Я слишком был счастлив, чтоб хранить в сердце чувство неприязненное. Я стал просить за Швабрина, и добрый комендант, с согласия своей супруги, решился его освободить. Швабрин пришёл ко мне; он изъявил глубокое сожаление о том, что случилось между нами; признался, что был кругом виноват, и просил меня забыть о прошедшем. Будучи от природы не злопамятен, я искренне простил ему и нашу ссору и рану, мною от него полученную. В клевете его видел я досаду оскорблённого самолюбия и отвергнутой любви и великодушно извинял своего несчастного соперника.

Вскоре я выздоровел и мог перебраться на мою квартиру. С нетерпением ожидал я ответа на посланное письмо, не смея надеяться и стараясь заглушить печальные предчувствия. С Василисой Егоровной и с её мужем я ещё не объяснялся; но предложение моё не должно было их удивить. Ни я, ни Марья Ивановна не старались скрывать от них свои чувства, и мы заранее были уж уверены в их согласии.

Наконец однажды утром Савельич вошёл ко мне, держа в руках письмо. Я схватил его с трепетом. Адрес был написан рукою батюшки. Это приуготовило меня к чему-то важному, ибо

обыкновенно письма писала ко мне матушка, а он в конце приписывал несколько строк. Долго не распечатывал я пакета и перечитывал торжественную надпись: «Сыну моему Петру Андреевичу Гринёву, в Оренбургскую губернию, в Белогорскую крепость». Я старался по почерку угадать расположение духа, в котором писано было письмо; наконец решился его распечатать и с первых строк увидел, что всё дело пошло к чёрту. Содержание письма был следующее:

«Сын мой Пётр! Письмо твоё, в котором просишь ты нас о родительском нашем благословении и согласии на брак с Марьей Ивановной дочерью Мироновой, мы получили 15-го сего месяца, и не только ни моего благословения, ни моего согласия дать я тебе не намерен, но ещё и собираюсь до тебя добраться да за проказы твои проучить тебя путём, как мальчишку, несмотря на твой офицерский чин: ибо ты доказал, что шпагу носить ещё недостоин, которая пожалована тебе на защиту отечества, а не для дуелей с такими же сорванцами, каков ты сам. Немедленно буду писать к Андрею Карловичу, прося его перевести тебя из Белогорской крепости куда-нибудь подальше, где бы дурь у тебя прошла. Матушка твоя, узнав о твоём поединке и о том, что ты ра-

нен, с горести занемогла и теперь лежит. Что из тебя будет? Молю Бога, чтоб ты исправился, хоть и не смею надеяться на Его великую милость.

Отец твой А. Г.».

Чтение сего письма возбудило во мне разные чувствования. Жестокие выражения, на которые батюшка не поскупился, глубоко оскорбили меня. Пренебрежение, с каким он упоминал о Марье Ивановне, казалось мне столь же непристойным, как и несправедливым. Мысль о переведении моём из Белогорской крепости меня ужасала; но всего более огорчило меня известие о болезни матери. Я негодовал на Савельича, не сомневаясь, что поединок мой стал известен родителям через него. Шагая взад и вперёд по тесной моей комнате, я остановился перед ним и сказал, взглянув на него грозно: «Видно, тебе не довольно, что я, благодаря тебя, ранен и целый месяц был на краю гроба: ты и мать мою хочешь уморить». Савельич был поражён как громом. «Помилуй, сударь, — сказал он, чуть не зарыдав, — что это изволишь говорить? Я причина, что ты был ранен! Бог видит, бежал я заслонить тебя своею грудью от шпаги Алексея Иваныча. Старость проклятая помешала. Да что ж я сделал матушке-то твоей?» — «Что ты сделал? — отвечал я. — Кто

просил тебя писать на меня доносы? разве ты приставлен ко мне в шпионы?» — «Я? писал на тебя доносы? — отвечал Савельич со слезами. — Господи Царю Небесный! Так изволь-ка прочитать, что пишет ко мне барин: увидишь, как я доносил на тебя». Тут он вынул из кармана письмо, и я прочёл следующее:

«Стыдно тебе, старый пёс, что ты, невзирая на мои строгие приказания, мне не донёс о сыне моём Петре Андреевиче и что посторонние принуждены уведомлять меня о его проказах. Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса! пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку. С получением сего приказываю тебе немедленно отписать ко мне, каково теперь его здоровье, о котором пишут мне, что поправилось; да в какое именно место он ранен и хорошо ли его залечили».

Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упрёком и подозрением. Я просил у него прощения; но старик был неутешен. «Вот до чего я дожил, — повторял он, — вот каких милостей дослужился от своих господ! Я и старый пёс, и свинопас, да я ж и причина твоей раны? Нет, батюшка Пётр

Андреич! не я, проклятый мусье всему виноват, он научил тебя тыкаться железными вертелами да притопывать, как будто тыканием да топанием убережёшься от злого человека! Нужно было нанимать мусье да тратить лишние деньги!»

Но кто же брал на себя труд уведомить отца моего о моём поведении? Генерал? Но он, казалось, обо мне не слишком заботился; а Иван Кузмич не почёл за нужное рапортовать о моём поединке. Я терялся в догадках. Подозрения мои остановились на Швабрине. Он один имел выгоду в доносе, коего следствием могло быть удаление моё из крепости и разрыв с комендантским семейством. Я пошёл объявить обо всём Марье Ивановне. Она встретила меня на крыльце. «Что это с вами сделалось? — сказала она, увидев меня. — Как вы бледны!» — «Всё кончено!» — отвечал я и отдал ей батюшкино письмо. Она побледнела в свою очередь. Прочитав, она возвратила мне письмо дрожащею рукою и сказала дрожащим голосом: «Видно, мне не судьба… Родные ваши не хотят меня в свою семью. Буди во всём воля Господня! Бог лучше нашего знает, что нам надобно. Делать нечего, Пётр Андреич; будьте хоть вы счастливы…» — «Этому не бывать! — вскричал я, схватив её за руку, — ты меня любишь; я готов на

всё. Пойдём, кинемся в ноги к твоим родителям; они люди простые, не жестокосердые гордецы… Они нас благословят; мы обвенчаемся… а там, со временем, я уверен, мы умолим отца моего; матушка будет за нас; он меня простит…» — «Нет, Пётр Андреич, — отвечала Маша, — я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастия. Покоримся воле Божией. Коли найдёшь себе суженую, коли полюбишь другую — Бог с тобою, Пётр Андреич; а я за вас обоих…» Тут она заплакала и ушла от меня; я хотел было войти за нею в комнату, но чувствовал, что был не в состоянии владеть самим собою, и воротился домой.

*И снова Пушкин делает акцент на характере Маши: даже несмотря на любовь к Петру, она не готова пойти против воли его родителей и не будет строить свое счастье на несчастье других, потому что понимает, что она не ровня молодому дворянину. Для автора очень важно было показать не просто милую, добрую девушку, а именно такую героиню, которая будет являть собой образец добродетели, как бы конструируя женский идеал.*

Я сидел погружённый в глубокую задумчивость, как вдруг Савельич прервал мои размышления.

«Вот, сударь, — сказал он, подавая мне исписанный лист бумаги, — посмотри, доносчик ли я на своего барина и стараюсь ли я помутить сына с отцом». Я взял из рук его бумагу: это был ответ Савельича на полученное им письмо. Вот он от слова до слова:

«Государь Андрей Петрович, отец наш милостивый!

Милостивое писание ваше я получил, в котором изволишь гневаться на меня, раба вашего, что-де стыдно мне не исполнять господских приказаний, а я, не старый пёс, а верный ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и усердно вам всегда служил и дожил до седых волос. Я ж про рану Петра Андреича ничего к вам не писал, чтоб не испужать понапрасну, и, слышно, барыня мать наша Авдотья Васильевна и так с испугу слегла, и за её здоровье Бога буду молить. А Пётр Андреич ранен был под правое плечо, в грудь под самую косточку, в глубину на полтора вершка, и лежал он в доме у коменданта, куда принесли мы его с берега, и лечил его здешний цирюльник Степан Парамонов; и теперь Пётр Андреич, слава Богу, здоров, и про него, кроме хорошего, нечего и писать. Командиры, слышно, им довольны; а у Василисы Егоровны он как родной сын. А что с

ним случилась такая оказия, то быль молодцу не укора: конь и о четырёх ногах, да спотыкается. А изволите вы писать, что сошлёте меня свиней пасти, и на то ваша боярская воля. Засим кланяюсь рабски.

Верный холоп ваш *Архип Савельев*».

Я не мог несколько раз не улыбнуться, читая грамоту доброго старика. Отвечать батюшке я был не в состоянии; а чтоб успокоить матушку, письмо Савельича мне показалось достаточным.

С той поры положение моё переменилось. Марья Ивановна почти со мною не говорила и всячески старалась избегать меня. Дом коменданта стал для меня постыл. Мало-помалу приучился я сидеть один у себя дома. Василиса Егоровна сначала за то мне пеняла; но, видя моё упрямство, оставила меня в покое. С Иваном Кузмичом виделся я только, когда того требовала служба. Со Швабриным встречался редко и неохотно, тем более что замечал в нём скрытую к себе неприязнь, что и утверждало меня в моих подозрениях. Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении, и час от часу становилось мне тягостнее. Я потерял охоту к чтению и словесности. Дух

мой упал. Я боялся или сойти с ума, или удариться в распутство. Неожиданные происшествия, имевшие важное влияние на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение.

## Глава VI
## Пугачёвщина

*Вы, молодые ребята, послушайте,*
*Что мы, старые старики, будем сказывати.*

***Песня***

Прежде нежели приступлю к описанию странных происшествий, коим я был свидетель, я должен сказать несколько слов о положении, в котором находилась Оренбургская губерния в конце 1773 года.

Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством полудиких народов, признавших ещё недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства непрестанного надзора для удержания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, признанных удобными, заселены по большей части казаками, давнишними обладателями яицких берегов. Но яицкие казаки, долженство-

вавшие охранять спокойствие и безопасность сего края, с некоторого времени были сами для правительства неспокойными и опасными подданными. В 1772 году произошло возмущение в их главном городке. Причиною тому были строгие меры, предпринятые генерал-майором Траубенбергом, дабы привести войско к должному повиновению. Следствием было варварское убиение Траубенберга, своевольная перемена в управлении и, наконец, усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями.

Это случилось несколько времени перед прибытием моим в Белогорскую крепость. Всё было уже тихо, или казалось таковым; начальство слишком легко поверило мнимому раскаянию лукавых мятежников, которые злобствовали втайне и выжидали удобного случая для возобновления беспорядков.

Обращаюсь к своему рассказу.

Однажды вечером (это было в начале октября 1773 года) сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны. Пришли меня звать от имени коменданта. Я тотчас отправился. У коменданта нашёл я Швабрина, Ивана Игнатьича и казацкого урядника. В комнате не было ни Василисы Егоровны,

ни Марьи Ивановны. Комендант со мною поздоровался с видом озабоченным. Он запер двери, всех усадил, кроме урядника, который стоял у дверей, вынул из кармана бумагу и сказал нам: «Господа офицеры, важная новость! Слушайте, что пишет генерал». Тут он надел очки и прочёл следующее:

«Господину коменданту Белогорской крепости Капитану Миронову.

По секрету.

Сим извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак и раскольник Емельян Пугачёв, учиня непростительную дерзость принятием на себя имени покойного императора Петра III, собрал злодейскую шайку, произвёл возмущение в яицких селениях и уже взял и разорил несколько крепостей, производя везде грабежи и смертные убийства. Того ради, с получением сего, имеете вы, господин капитан, немедленно принять надлежащие меры к отражению помянутого злодея и самозванца, а буде можно, и к совершенному уничтожению оного, если он обратится на крепость, вверенную вашему попечению».

— Принять надлежащие меры! — сказал комендант, снимая очки и складывая бумагу. — Слышь ты, легко сказать. Злодей-то, видно, силён; а у

нас всего сто тридцать человек, не считая казаков, на которых плоха надежда, не в укор буде тебе сказано, Максимыч. (Урядник усмехнулся.) Однако делать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы да ночные дозоры; в случае нападения запирайте ворота да выводите солдат. Ты, Максимыч, смотри крепко за своими казаками. Пушку осмотреть да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите всё это в тайне, чтоб в крепости никто не мог о том узнать преждевременно.

Раздав сии повеления, Иван Кузмич нас распустил. Я вышел вместе со Швабриным, рассуждая о том, что мы слышали. «Как ты думаешь, чем это кончится?» — спросил я его. «Бог знает, — отвечал он, — посмотрим. Важного покамест ещё ничего не вижу. Если же…» Тут он задумался и в рассеянии стал насвистывать французскую арию.

Несмотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачёва разнеслась по крепости. Иван Кузмич хоть и очень уважал свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей тайны, вверенной ему по службе. Получив письмо от генерала, он довольно искусным образом выпроводил Василису Егоровну, сказав ей, будто бы отец Герасим получил из Оренбурга какие-то

чудные известия, которые содержит в великой тайне. Василиса Егоровна тотчас захотела отправиться в гости к попадье и, по совету Ивана Кузмича, взяла с собою и Машу, чтоб ей не было скучно одной.

Иван Кузмич, оставшись полным хозяином, тотчас послал за нами, а Палашку запер в чулане, чтоб она не могла нас подслушать.

Василиса Егоровна возвратилась домой, не успев ничего выведать от попадьи, и узнала, что во время её отсутствия было у Ивана Кузмича совещание и что Палашка была под замком. Она догадалась, что была обманута мужем, и приступила к нему с допросом. Но Иван Кузмич приготовился к нападению. Он нимало не смутился и бодро отвечал своей любопытной сожительнице: «А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печи топить соломою; а как от того может произойти несчастие, то я и отдал строгий приказ впредь соломою бабам печей не топить, а топить хворостом и валежником». — «А для чего ж было тебе запирать Палашку? — спросила комендантша. — За что бедная девка просидела в чулане, пока мы не воротились?» Иван Кузмич не был приготовлен к таковому вопросу; он запутался и пробормотал что-то очень нескладное.

Василиса Егоровна увидела коварство своего мужа; но, зная, что ничего от него не добьётся, прекратила свои вопросы и завела речь о солёных огурцах, которые Акулина Памфиловна приготовляла совершенно особенным образом. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не могла догадаться, что бы такое было в голове её мужа, о чём бы ей нельзя было знать.

На другой день, возвращаясь от обедни, она увидела Ивана Игнатьича, который вытаскивал из пушки тряпички, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханный в неё ребятишками. «Что бы значили эти военные приготовления? — думала комендантша, — уж не ждут ли нападения от киргизцев? Но неужто Иван Кузмич стал бы от меня таить такие пустяки?» Она кликнула Ивана Игнатьича, с твёрдым намерением выведать от него тайну, которая мучила её дамское любопытство.

Василиса Егоровна сделала ему несколько замечаний касательно хозяйства, как судия, начинающий следствие вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность ответчика. Потом, помолчав несколько минут, она глубоко вздохнула и сказала, качая головою: «Господи Боже мой! Вишь какие новости? Что из этого

будет?»

— И, матушка! — отвечал Иван Игнатьич. — Бог милостив: солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил. Авось дадим отпор Пугачёву. Господь не выдаст, свинья не съест!

— А что за человек этот Пугачёв? — спросила комендантша.

Тут Иван Игнатьич заметил, что проговорился, и закусил язык. Но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всём признаться, дав ему слово не рассказывать о том никому.

Василиса Егоровна сдержала своё обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме как попадье, и то потому только, что корова её ходила ещё в степи и могла быть захвачена злодеями.

Вскоре все заговорили о Пугачёве. Толки были различны. Комендант послал урядника с поручением разведать хорошенько обо всём по соседним селениям и крепостям. Урядник возвратился через два дня и объявил, что в степи вёрст за шестьдесят от крепости видел он множество огней и слышал от башкирцев, что идёт неведомая сила. Впрочем, не мог он сказать ничего положительного, потому что ехать дальше побоялся.

В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение; во всех улицах они

толпились в кучки, тихо разговаривали между собой и расходились, увидя драгуна или гарнизонного солдата. Посланы были к ним лазутчики. Юлай, крещёный калмык, сделал коменданту важное донесение. Показания урядника, по словам Юлая, были ложны: по возвращении своём лукавый казак объявил своим товарищам, что он был у бунтовщиков, представлялся самому их предводителю, который допустил его к своей руке и долго с ним разговаривал. Комендант немедленно посадил урядника под караул, а Юлая назначил на его место. Эта новость принята была казаками с явным неудовольствием. Они громко роптали, и Иван Игнатьич, исполнитель комендантского распоряжения, слышал своими ушами, как они говорили: «Вот ужо тебе будет, гарнизонная крыса!» Комендант думал в тот же день допросить своего арестанта; но урядник бежал из-под караула, вероятно, при помощи своих единомышленников.

Новое обстоятельство усилило беспокойство коменданта. Схвачен был башкирец с возмутительными листами[40]. По сему случаю комендант

**[40] Примечания: 40**

Возмутительные листы — прокламации Пугачёва, призывавшие к восстанию (возмущению). Пушкин называл их «удивительным образцом народного красноречия».

думал опять собрать своих офицеров и для того хотел опять удалить Василису Егоровну под благовидным предлогом. Но как Иван Кузмич был человек самый прямодушный и правдивый, то и не нашёл другого способа, кроме как единожды уже им употреблённого.

«Слышь ты, Василиса Егоровна, — сказал он ей покашливая. — Отец Герасим получил, говорят, из города…» — «Полно врать, Иван Кузмич, — перервала комендантша, — ты, знать, хочешь собрать совещание да без меня потолковать об Емельяне Пугачёве; да лих не проведёшь!» Иван Кузмич вытаращил глаза. «Ну, матушка, — сказал он, — коли ты уже всё знаешь, так, пожалуй, оставайся; мы потолкуем и при тебе». — «То-то, батько мой, — отвечала она, — не тебе бы хитрить; посылай-ка за офицерами».

Мы собрались опять. Иван Кузмич в присутствии жены прочёл нам воззвание Пугачёва, писанное каким-нибудь полуграмотным казаком. Разбойник объявлял о своём намерении немедленно идти на нашу крепость; приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал не сопротивляться, угрожая казнию в противном случае. Воззвание написано было в грубых, но сильных выражениях и должно

было произвести опасное впечатление на умы простых людей.

— Каков мошенник! — воскликнула комендантша. — Что смеет ещё нам предлагать! Выйти к нему навстречу и положить к ногам его знамёна! Ах он собачий сын! Да разве не знает он, что мы уже сорок лет в службе и всего, слава Богу, насмотрелись? Неужто нашлись такие командиры, которые послушались разбойника?

— Кажется, не должно бы, — отвечал Иван Кузмич. — А слышно, злодей завладел уж многими крепостями.

— Видно, он в самом деле силён, — заметил Швабрин.

— А вот сейчас узнаем настоящую его силу, — сказал комендант. — Василиса Егоровна, дай мне ключ от анбара. Иван Игнатьич, приведи-ка башкирца да прикажи Юлаю принести сюда плетей.

— Постой, Иван Кузмич,– сказала комендантша, вставая с места.– Дай уведу Машу куда-нибудь из дому; а то услышит крик, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотница до розыска[41]. Счастливо оставаться.

Пытка в старину так была укоренена в обычаях

---

**[41] Примечания: 41**

Розыск — *здесь:* допрос с применением пытки.

судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения, — мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности. Даже и ныне случается мне слышать старых судей, жалеющих об уничтожении варварского обычая. В наше же время никто не сомневался в необходимости пытки, ни судьи, ни подсудимые. Итак, приказание коменданта никого из нас не удивило и не встревожило. Иван Игнатьич отправился за башкирцем, который сидел в амбаре под ключом у комендантши, и через несколько минут невольника привели в переднюю. Комендант велел его к себе представить.

*Рассуждения Гринёва о пытках — это не что иное как мысли самого Пушкина. В них кроется глобальная гуманистическая идея, которую автор продвигает во всем своем наследии.*

Башкирец с трудом шагнул через порог (он был в колодке) и, сняв высокую свою шапку, остано-

вился у дверей. Я взглянул на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита; вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого росту, тощ и сгорблен; но узенькие глаза его сверкали ещё огнём. «Эхе!– сказал комендант, узнав, по страшным его приметам, одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году[42]. — Да ты, видно, старый волк, побывал в наших капканах. Ты, знать, не впервой уже бунтуешь, коли у тебя так гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подослал?»

Старый башкирец молчал и глядел на коменданта с видом совершенного бессмыслия. «Что же ты молчишь? — продолжал Иван Кузмич, — али бельмес по-русски не разумеешь? Юлай, спроси-ка у него по-вашему, кто его подослал в нашу крепость?»

Юлай повторил на татарском языке вопрос Ивана Кузмича. Но башкирец глядел на него с тем же выражением и не отвечал ни слова.

---

**[42] Примечания: 42**

В 1737–1740 годах в Башкирии вспыхнули народные восстания, жестоко подавленные.

— Якши[43], — сказал комендант, — ты у меня заговоришь. Ребята! сымите-ка с него дурацкий полосатый халат да выстрочите ему спину. Смотри ж, Юлай: хорошенько его!

Два инвалида стали башкирца раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми. Когда ж один из инвалидов взял его руки и, положив их себе около шеи, поднял старика на свои плечи, а Юлай взял плеть и замахнулся, — тогда башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок.

Когда вспомню, что это случилось на моём веку и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений.

Все были поражены. «Ну, — сказал комендант, — видно, нам от него толку не добиться.

---

**[43] Примечания: 43**
Якши *(татар.)* — хорошо.

Юлай, отведи башкирца в анбар. А мы, господа, кой о чём ещё потолкуем».

Мы стали рассуждать о нашем положении, как вдруг Василиса Егоровна вошла в комнату, задыхаясь и с видом чрезвычайно встревоженным.

— Что это с тобою сделалось? — спросил изумлённый комендант.

— Батюшки, беда! — отвечала Василиса Егоровна. — Нижнеозёрная взята сегодня утром. Работник отца Герасима сейчас оттуда воротился. Он видел, как её брали. Комендант и все офицеры перевешаны. Все солдаты взяты в полон. Того и гляди, злодеи будут сюда.

Неожиданная весть сильно меня поразила. Комендант Нижнеозёрной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал он из Оренбурга с молодой своей женою и останавливался у Ивана Кузмича. Нижнеозёрная находилась от нашей крепости верстах в двадцати пяти. С часу на час должно было и нам ожидать нападения Пугачёва. Участь Марьи Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло.

— Послушайте, Иван Кузмич! — сказал я коменданту. — Долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхания; об этом и гово-

рить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщин. Отправьте их в Оренбург, если дорога ещё свободна, или в отдалённую, более надёжную крепость, куда злодеи не успели бы достигнуть.

Иван Кузмич оборотился к жене и сказал ей:

— А слышь ты, матушка, и в самом деле, не отправить ли вас подале, пока не управимся мы с бунтовщиками?

— И, пустое! — сказала комендантша. — Где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорская ненадёжна? Слава Богу, двадцать второй год в ней проживаем. Видали и башкирцев и киргизцев: авось и от Пугачёва отсидимся!

— Ну, матушка,– возразил Иван Кузмич,– оставайся, пожалуй, коли ты на крепость нашу надеешься. Да с Машей-то что нам делать? Хорошо, коли отсидимся или дождёмся сикурса[44]; ну, а коли злодеи возьмут крепость?

— Ну, тогда… — Тут Василиса Егоровна заикнулась и замолчала с видом чрезвычайного волнения.

— Нет, Василиса Егоровна, — продолжал комендант, замечая, что слова его подействовали, может быть, в первый раз в его жизни. — Маше

---

**[44] Примечания: 44**

Сикурс — войсковая часть, посланная в качестве подкрепления.

здесь оставаться негоже. Отправим её в Оренбург к её крёстной матери: там и войска и пушек довольно, и стена каменная. Да и тебе советовал бы с нею туда же отправиться; даром что ты старуха, а посмотри, что с тобою будет, коли возьмут фортецию приступом.

— Добро, — сказала комендантша, — так и быть, отправим Машу. А меня и во сне не проси: не поеду. Нечего мне под старость лет расставаться с тобою да искать одинокой могилы на чужой сторонке. Вместе жить, вместе и умирать.

— И то дело, — сказал комендант. — Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу в дорогу. Завтра чем свет её и отправим, да дадим ей и конвой, хоть людей лишних у нас и нет. Да где же Маша?

— У Акулины Памфиловны, — отвечала комендантша. — Ей сделалось дурно, как услышала о взятии Нижнеозёрной; боюсь, чтобы не занемогла. Господи Владыко, до чего мы дожили!

Василиса Егоровна ушла хлопотать об отъезде дочери. Разговор у коменданта продолжался; но я уже в него не мешался и ничего не слушал. Марья Ивановна явилась к ужину бледная и заплаканная. Мы отужинали молча и встали изо стола скорее обыкновенного; простясь со всем

семейством, мы отправились по домам. Но я нарочно забыл свою шпагу и воротился за нею; я предчувствовал, что застану Марью Ивановну одну. В самом деле, она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу. «Прощайте, Пётр Андреич! — сказала она мне со слезами. — Меня посылают в Оренбург. Будьте живы и счастливы; может быть, Господь приведёт нам друг с другом увидеться; если же нет…» Тут она зарыдала. Я обнял её. «Прощай, ангел мой, — сказал я, — прощай, моя милая, моя желанная! Что бы со мною ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе!» Маша рыдала, прильнув к моей груди. Я с жаром её поцеловал и поспешно вышел из комнаты.

## Глава VII
## Приступ

*Голова моя, головушка,*
*Голова послуживая!*
*Послужила моя головушка*
*Ровно тридцать лет и три года.*
*Ах, не выслужила головушка*
*Ни корысти себе, ни радости,*
*Как ни слова себе доброго*
*И ни рангу себе высокого;*
*Только выслужила головушка*
*Два высокие столбика,*
*Перекладинку кленовую,*
*Ещё петельку шелковую.*

***Народная песня***

В эту ночь я не спал и не раздевался. Я намерен был отправиться на заре к крепостным воротам, откуда Марья Ивановна должна была выехать, и там проститься с нею в последний раз. Я чувствовал в себе великую перемену: волнение души

моей было мне гораздо менее тягостно, нежели то уныние, в котором ещё недавно был я погружён. С грустию разлуки сливались во мне и неясные, но сладостные надежды, и нетерпеливое ожидание опасностей, и чувства благородного честолюбия. Ночь прошла незаметно. Я хотел уже выйти из дому, как дверь моя отворилась и ко мне явился капрал с донесением, что наши казаки ночью выступили из крепости, взяв насильно с собою Юлая, и что около крепости разъезжают неведомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успеет выехать, ужаснула меня; я поспешно дал капралу несколько наставлений и тотчас бросился к коменданту.

Уж рассветало. Я летел по улице, как услышал, что зовут меня. Я остановился. «Куда вы? — сказал Иван Игнатьич, догоняя меня. — Иван Кузмич на валу и послал меня за вами. Пугач пришёл». — «Уехала ли Марья Ивановна?» — спросил я с сердечным трепетом. «Не успела, — отвечал Иван Игнатьич, — дорога в Оренбург отрезана; крепость окружена. Плохо, Пётр Андреич!»

Мы пошли на вал, возвышение, образованное природой и укреплённое частоколом. Там уже толпились все жители крепости. Гарнизон стоял в ружьё. Пушку туда перетащили накануне. Комен-

дант расхаживал перед своим малочисленным строем. Близость опасности одушевляла старого воина бодростию необыкновенной. По степи, не в дальнем расстоянии от крепости, разъезжали человек двадцать верхами. Они, казалося, казаки, но между ими находились и башкирцы, которых легко можно было распознать по их рысьим шапкам и по колчанам. Комендант обошёл своё войско, говоря солдатам: «Ну, детушки, постоим сегодня за матушку государыню и докажем всему свету, что мы люди бравые и присяжные![45]» Солдаты громко изъявили усердие. Швабрин стоял подле меня и пристально глядел на неприятеля. Люди, разъезжающие в степи, заметя движение в крепости, съехались в кучку и стали между собою толковать. Комендант велел Ивану Игнатьичу навести пушку на их толпу и сам приставил фитиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не сделав никакого вреда. Наездники, рассеясь, тотчас ускакали из виду, и степь опустела.

Тут явилась на валу Василиса Егоровна и с нею Маша, не хотевшая отстать от неё. «Ну что? — сказала комендантша. — Каково идёт баталья? Где же неприятель?» — «Неприятель недале-

**[45] Примечания: 45**
Присяжные — *здесь*: принёсшие присягу.

че, — отвечал Иван Кузмич. — Бог даст, всё будет ладно. Что, Маша, страшно тебе?» — «Нет, папенька, — отвечала Марья Ивановна, — дома одной страшнее». Тут она взглянула на меня и с усилием улыбнулась. Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомня, что накануне получил её из её рук, как бы на защиту моей любезной. Сердце моё горело. Я воображал себя её рыцарем. Я жаждал доказать, что был достоин её доверенности, и с нетерпением стал ожидать решительной минуты.

В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооружённых копьями и сайдаками[46]. Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане, с обнажённой саблею в руке: это был сам Пугачёв. Он остановился; его окружили, и, как видно, по его повелению, четыре человека отделились и во весь опор подскакали под самую крепость. Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал под шапкою лист бумаги; у другого на копьё воткнута была голова Юлая, которую, стряхнув, перекинул он к нам чрез ча-

---

**[46] Примечания: 46**

Сайдак — старинное вооружение конного воина: лук и стрелы.

стокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта. Изменники кричали: «Не стреляйте; выходите вон к государю. Государь здесь!»

«Вот я вас! — закричал Иван Кузмич. — Ребята! стреляй!» Солдаты наши дали залп. Казак, державший письмо, зашатался и свалился с лошади; другие поскакали назад. Я взглянул на Марью Ивановну. Поражённая видом окровавленной головы Юлая, оглушённая залпом, она казалась без памяти. Комендант подозвал капрала и велел ему взять лист из рук убитого казака. Капрал вышел в поле и возвратился, ведя под уздцы лошадь убитого. Он вручил коменданту письмо. Иван Кузмич прочёл его про себя и разорвал потом в клочки. Между тем мятежники, видимо, приготовлялись к действию. Вскоре пули начали свистать около наших ушей, и несколько стрел воткнулись около нас в землю и в частокол. «Василиса Егоровна! — сказал комендант. — Здесь не бабье дело; уведи Машу; видишь: девка ни жива ни мертва».

Василиса Егоровна, присмиревшая под пулями, взглянула на степь, на которой заметно было большое движение; потом оборотилась к мужу и сказала ему: «Иван Кузмич, в животе и смерти Бог волен: благослови Машу. Маша, подойди к отцу».

Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузмичу, стала на колени и поклонилась ему в землю. Старый комендант перекрестил её трижды; потом поднял и, поцеловав, сказал ей изменившимся голосом: «Ну, Маша, будь счастлива. Молись Богу: Он тебя не оставит. Коли найдётся добрый человек, дай Бог вам любовь да совет. Живите, как жили мы с Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же её поскорей». (Маша кинулась ему на шею и зарыдала.) — «Поцелуемся ж и мы, — сказала, заплакав, комендантша. — Прощай, мой Иван Кузмич. Отпусти мне, коли в чём я тебе досадила!» — «Прощай, прощай, матушка! — сказал комендант, обняв свою старуху. — Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан». Комендантша с дочерью удалились. Я глядел вослед Марьи Ивановны; она оглянулась и кивнула мне головой. Тут Иван Кузмич оборотился к нам, и всё внимание его устремилось на неприятеля. Мятежники съезжались около своего предводителя и вдруг начали слезать с лошадей. «Теперь стойте крепко, — сказал комендант, — будет приступ…» В эту минуту раздался страшный визг и крики; мятежники бегом бежали к крепости. Пушка наша заряжена

была картечью. Комендант подпустил их на самое близкое расстояние и вдруг выпалил опять. Картечь хватила в самую середину толпы. Мятежники отхлынули в обе стороны и попятились. Предводитель их остался один впереди… Он махал саблею и, казалось, с жаром их уговаривал… Крик и визг, умолкнувшие на минуту, тотчас снова возобновились. «Ну, ребята, — сказал комендант, — теперь отворяй ворота, бей в барабан. Ребята! вперёд, на вылазку, за мною!»

Комендант, Иван Игнатьич и я мигом очутились за крепостным валом; но обробелый гарнизон не тронулся. «Что же вы, детушки, стоите? — закричал Иван Кузмич. — Умирать так умирать: дело служивое!» В эту минуту мятежники набежали на нас и ворвались в крепость. Барабан умолк; гарнизон бросил ружья; меня сшибли было с ног, но я встал и вместе с мятежниками вошёл в крепость. Комендант, раненный в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Я бросился было к нему на помощь: несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками, приговаривая: «Вот ужо вам будет, государевым ослушникам!» Нас потащили по улицам; жители выходили из домов с хлебом и солью. Раздавался колокольный звон. Вдруг

закричали в толпе, что государь на площади ожидает пленных и принимает присягу. Народ повалил на площадь; нас погнали туда же.

Пугачёв сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нём был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо. Казацкие старшины окружали его. Отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у крыльца, с крестом в руках, и, казалось, молча умолял его за предстоящие жертвы. На площади ставили наскоро виселицу. Когда мы приближились, башкирцы разогнали народ и нас представили Пугачёву. Колокольный звон утих; настала глубокая тишина. «Который комендант?» — спросил самозванец. Наш урядник выступил из толпы и указал на Ивана Кузмича. Пугачёв грозно взглянул на старика и сказал ему: «Как ты смел противиться мне, своему государю?» Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твёрдым голосом: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!» Пугачёв мрачно нахмурился и махнул белым платком. Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к виселице. На её перекладине очутился

верхом изувеченный башкирец, которого допрашивали мы накануне. Он держал в руке верёвку, и через минуту увидел я бедного Ивана Кузмича вздёрнутого на воздух. Тогда привели к Пугачёву Ивана Игнатьича. «Присягай, — сказал ему Пугачёв, — государю Петру Феодоровичу!» — «Ты нам не государь, — отвечал Иван Игнатьич, повторяя слова своего капитана. — Ты, дядюшка, вор и самозванец!» Пугачёв махнул опять платком, и добрый поручик повис подле своего старого начальника.

Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачёва, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей. Тогда, к неописанному моему изумлению, увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Он подошёл к Пугачёву и сказал ему на ухо несколько слов. «Вешать его!» — сказал Пугачёв, не взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося Богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля Его о спасении всех близких моему сердцу. Меня притащили под виселицу. «Не бось, не бось», — повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить. Вдруг услышал я крик: «Постойте,

окаянные! погодите!..» Палачи остановились. Гляжу: Савельич лежит в ногах у Пугачёва. «Отец родной! — говорил бедный дядька. — Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради вели повесить хоть меня, старика!» Пугачёв дал знак, и меня тотчас развязали и оставили.

*Сцена заступничества Савельича привлекает внимание по двум причинам. Во-первых, читателю предлагается оценить преданность и самоотверженность Савельича: он, совершенно не думая о собственной безопасности, бросается в ноги самозванцу, чтобы спасти своего хозяина, и предлагает казнить его, а «барского дитятю» помиловать. Во-вторых, образы Пугачёва и Савельича, обычных мужиков, представителей народа, ярко контрастируют друг с другом и являются антиподами: один — жесток и кровожаден, второй — предан и самоотвержен. Пушкин, один из первых отечественных писателей, глубоко проникнувший в душу простого мужика, поставил перед собой сложнейшую задачу: показать, каким противоречивым может быть русский человек. И именно Пугачёв и Савельич помогают автору отчетливо расскрыть эту идею.*

«Батюшка наш тебя милует», — говорили мне. В эту минуту не могу сказать, чтоб я обрадовался своему избавлению, не скажу, однако ж, чтоб я о нём и сожалел. Чувствования мои были слишком смутны. Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачёв протянул мне жилистую свою руку. «Целуй руку, целуй руку!» — говорили около меня. Но я предпочёл бы самую лютую казнь такому подлому унижению. «Батюшка Пётр Андреич! — шептал Савельич, стоя за мною и толкая меня. — Не упрямься! что тебе стоит? плюнь да поцелуй у злод… (тьфу!) поцелуй у него ручку». Я не шевелился. Пугачёв опустил руку, сказав с усмешкою: «Его благородие, знать, одурел от радости. Подымите его!» Меня подняли и оставили на свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии.

Жители начали присягать. Они подходили один за другим, целуя распятие и потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же. Ротный портной, вооружённый тупыми своими ножницами, резал у них косы. Они, отряхиваясь, подходили к руке Пугачёва, который объявлял им прощение и принимал в свою шайку. Всё это продолжалось около трёх часов. Наконец Пугачёв встал с кресел и сошёл с крыльца в сопровожде-

нии своих старшин. Ему подвели белого коня, украшенного богатой сбруей. Два казака взяли его под руки и посадили на седло. Он объявил отцу Герасиму, что будет обедать у него. В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрёпанную и раздетую донага. Один из них успел уже нарядиться в её душегрейку. Другие таскали перины, сундуки, чайную посуду, бельё и всю рухлядь. «Батюшки мои! — кричала бедная старушка. — Отпустите душу на покаяние. Отцы родные, отведите меня к Ивану Кузмичу». Вдруг она взглянула на виселицу и узнала своего мужа. «Злодеи! — закричала она в исступлении. — Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузмич, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника!» — «Унять старую ведьму!» — сказал Пугачёв. Тут молодой казак ударил её саблею по голове, и она упала мёртвая на ступени крыльца. Пугачёв уехал; народ бросился за ним.

## Глава VIII
## Незваный гость

*Незваный гость хуже татарина.*

***Пословица***

*Эта глава имеет противоречивое название. С одной стороны, незваным гостем, конечно, можно считать Пугачёва. С другой же, незваным, то есть лишним, гостем станет сам Гринёв, оказавшийся за одним столом с самозванцем и его бандой. Этим подчеркивается шаткое положение как Пугачёва, очевидно воцарившегося лишь временно, так и Гринёва, чудом спасшегося, но пока ещё находящегося в опасности.*

Площадь опустела. Я всё стоял на одном месте и не мог привести в порядок мысли, смущённые столь ужасными впечатлениями.

Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? что с нею? успела ли спрятаться? надёжно ли её убежище?.. Полный тревожными мыслями, я вошёл в комендантский дом… Всё было пусто; стулья, столы, сундуки были переломаны, посуда перебита; всё растасканно. Я взбежал по маленькой лестнице, которая

вела в светлицу, и в первый раз от роду вошёл в комнату Марьи Ивановны. Я увидел её постелю, перерытую разбойниками; шкап был разломан и ограблен; лампадка теплилась ещё перед опустелым кивотом. Уцелело и зеркальце, висевшее в простенке… Где ж была хозяйка этой смиренной, девической кельи? Страшная мысль мелькнула в уме моём: я вообразил её в руках у разбойников… Сердце моё сжалось… Я горько, горько заплакал и громко произнёс имя моей любезной… В эту минуту послышался лёгкий шум, из-за шкапа явилась Палаша, бледная и трепещущая.

— Ах, Пётр Андреич! — сказала она, сплеснув руками. — Какой денёк! какие страсти!..

— А Марья Ивановна? — спросил я нетерпеливо, — что Марья Ивановна?

— Барышня жива, — отвечала Палаша. — Она спрятана у Акулины Памфиловны.

— У попадьи! — вскричал я с ужасом. — Боже мой! да там Пугачёв!

Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометью побежал в дом священника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни… Пугачёв пировал с своими товарищами. Палаша прибежала туда же за мною. Я подослал её вызвать тихонько Акулину

Памфиловну. Через минуту попадья вышла ко мне в сени с пустым штофом в руках.

— Ради Бога! где Марья Ивановна? — спросил я с неизъяснимым волнением.

— Лежит, моя голубушка, у меня на кровати, там за перегородкою, — отвечала попадья. — Ну, Пётр Андреич, чуть было не стряслась беда, да, слава Богу, всё прошло благополучно: злодей только что уселся обедать, как она, моя бедняжка, очнётся да застонет!.. Я так и обмерла. Он услышал: «А кто это у тебя охает, старуха?» Я вору в пояс: «Племянница моя, государь; захворала, лежит вот уж другая неделя». — «А молода твоя племянница?» — «Молода, государь». — «А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу». У меня сердце так и ёкнуло, да нечего было делать. «Изволь, государь; только девка-то не сможет встать и прийти к твоей милости». — «Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу». И ведь пошёл, окаянный, за перегородку; как ты думаешь! ведь отдёрнул занавес, взглянул ястребиными своими глазами! — и ничего… Бог вынес! А веришь ли, я и батька мой так уж и приготовились к мученической смерти. К счастию, она, моя голубушка, не узнала его. Господи Владыко, дождались мы праздника! Нечего сказать! бедный Иван Куз-

мич! кто бы подумал!.. А Василиса-то Егоровна? А Иван-то Игнатьич? Его-то за что?.. Как это вас пощадили? А каков Швабрин, Алексей Иваныч? Ведь остригся в кружок и теперь у нас тут же с ними пирует! Проворен, нечего сказать! А как сказала я про больную племянницу, так он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь; однако не выдал, спасибо ему и за то. — В эту минуту раздались пьяные крики гостей и голос отца Герасима. Гости требовали вина, хозяин кликал сожительницу. Попадья расхлопоталась. — Ступайте себе домой, Пётр Андреич, — сказала она, — теперь не до вас; у злодеев попойка идёт. Беда, попадётесь под пьяную руку. Прощайте, Пётр Андреич. Что будет, то будет; авось Бог не оставит.

Попадья ушла. Несколько успокоенный, я отправился к себе на квартиру. Проходя мимо площади, я увидел несколько башкирцев, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги с повешенных; с трудом удержал я порыв негодования, чувствуя бесполезность заступления. По крепости бегали разбойники, грабя офицерские дома. Везде раздавались крики пьянствующих мятежников. Я пришёл домой. Савельич встретил меня у порога. «Слава Богу! — вскричал он, увидя

меня. — Я было думал, что злодеи опять тебя подхватили. Ну, батюшка Пётр Андреич! веришь ли? всё у нас разграбили, мошенники: платье, бельё, вещи, посуду — ничего не оставили. Да что уж! Слава Богу, что тебя живого отпустили! А узнал ли ты, сударь, атамана?»

— Нет, не узнал; а кто ж он такой?

— Как, батюшка? Ты позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе? Заячий тулупчик совсем новёшенький; а он, бестия, его так и распорол, напяливая на себя!

Я изумился. В самом деле сходство Пугачёва с моим вожатым было разительно. Я удостоверился, что Пугачёв и он были одно и то же лицо, и понял тогда причину пощады, мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством!

— Не изволишь ли покушать? — спросил Савельич, неизменный в своих привычках. — Дома ничего нет; пойду пошарю да что-нибудь тебе изготовлю.

Оставшись один, я погрузился в размышления. Что мне было делать? Оставаться в крепости, под-

властной злодею, или следовать за его шайкою было неприлично офицеру. Долг требовал, чтобы я явился туда, где служба моя могла ещё быть полезна отечеству в настоящих затруднительных обстоятельствах… Но любовь сильно советовала мне оставаться при Марье Ивановне и быть ей защитником и покровителем. Хотя я и предвидел скорую и несомненную перемену в обстоятельствах, но всё же не мог не трепетать, воображая опасность её положения.

Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который прибежал с объявлением, что-де «великий государь требует тебя к себе». — «Где же он?» — спросил я, готовясь повиноваться.

— В комендантском, — отвечал казак. — После обеда батюшка наш отправился в баню, а теперь отдыхает. Ну, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная: за обедом скушать изволил двух жареных поросят, а парится так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник Фомке Бикбаеву да насилу холодной водой откачался. Нечего сказать: все приёмы такие важные… А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях: на одной двуглавый орёл, величиною с пятак, а на другой персона его.

Я не почёл нужным оспоривать мнения казака и с ним вместе отправился в комендантский дом, заранее воображая себе свидание с Пугачёвым и стараясь предугадать, чем оно кончится. Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен.

Начинало смеркаться, когда пришёл я к комендантскому дому. Виселица с своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши всё ещё валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. Казак, приведший меня, отправился про меня доложить и, тотчас же воротившись, ввёл меня в ту комнату, где накануне так нежно прощался я с Марьей Ивановною.

Необыкновенная картина мне представилась: за столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачёв и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгорячённые вином, с красными рожами и блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобранных изменников. *«Новобранные изменники» — это оксюморон: предатели являются новобранцами для пугачёвского войска, но изменниками для Гринёва. Это нелогичное на первый взгляд словосочетание подчеркивает, с одной*

*стороны, негативное отношение Петра к Швабрину и уряднику. С другой стороны, отношение к ним Пугачёва и его людей: они приглашают за свой стол отказавшегося перейти на их сторону Гринёва, а не присягнувшего на верность Швабрина, понимая, что на него надеяться не стоит, он снова может предать, как только выпадет возможность.*

«А, ваше благородие! — сказал Пугачёв, увидя меня. — Добро пожаловать; честь и место, милости просим». Собеседники потеснились. Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачёв на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая чёрную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкою.

*Пушкин акцентирует внимание на отношениях внутри пугачёвской банды и показывает, что у них сложилось что-то похожее на демократию, а не на абсолютную монархию, которая*

*душила простых людей и привела к страшной Крестьянской войне. Тем самым автор как бы дает понять современникам, что русский народ, опираясь на историческое развитие, зачастую сам может прийти к удобной ему форме правления, если дать ему слово, а не доводить конфликт до крайней степени жестокости и обоюдного недопонимания.*

Все обходились между собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шёл об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспоривал Пугачёва. И на сем-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу: движение дерзкое и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом! Поход был объявлен к завтрашнему дню. «Ну, братцы,– сказал Пугачёв,– затянем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков![47] Начинай!» Сосед мой затянул тонким голоском заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором:

*– Не шуми, мати зелёная дубровушка,*

---

**[47] Примечания: 47**

Чумаков Фёдор — яицкий казак, начальник артиллерии в войске Пугачёва.

*Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати.*

*Что заутра мне, доброму молодцу, в допрос идти*

*Перед грозного судью, самого царя.*

*Ещё станет государь-царь меня спрашивать:*

*Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,*

*Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,*

*Ещё много ли с тобой было товарищей?*

*Я скажу тебе, надёжа православный царь,*

*Всеё правду скажу тебе, всю истину.*

*Что товарищей у меня было четверо:*

*Ещё первый мой товарищ тёмная ночь,*

*А второй мой товарищ булатный нож,*

*А как третий-то товарищ, то мой добрый конь,*

*А четвёртый мой товарищ, то тугой лук,*

*Что рассыльщики мои, то калёны стрелы.*

*Что возговорит надёжа православный царь:*

*Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,*

*Что умел ты воровать, умел ответ держать!*

*Я за то тебя, детинушка, пожалую*

*Середи поля хоромами высокими,*

*Что двумя ли столбами с перекладиной.*

*Любимая песня Пугачёва немного напоминает сюжет о Робине Гуде, герое средневековых английских баллад, благородном предводителе лесных разбойников, который искусно стрелял из лука. Этот персонаж появляется в романе «Айвенго» Вальтера Скотта, который считается не только основоположником исторического романа, но и одним из тех, кто создал классический образ романтического героя. Пушкинский Пугачёв имеет яркие черты такого романтического героя: он — сильная, яркая, харизматичная личность, способная повести за собой народ. Пугачёв понимает безнадежность своей затеи, осознает ее обре-*

*ченность (как и все его соратники), но считает, что лучше действовать и умереть за идею, чем прозябать в унизительном раболепстве. Именно этот мотив неотвратимого рока вызывает у Гринёва «пиитический ужас».*

Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обречёнными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным,– всё потрясало меня каким-то пиитическим ужасом[48].

Гости выпили ещё по стакану, встали из-за стола и простились с Пугачёвым. Я хотел за ними последовать, но Пугачёв сказал мне: «Сиди; я хочу с тобою переговорить». Мы остались глаз на глаз.

Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачёв смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной весёлостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему.

— Что, ваше благородие? — сказал он мне. —

---

**[48] Примечания: 48**

Пиитический — поэтический, «пиитический ужас» — сильное впечатление.

Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе верёвку на шею? Я чаю, небо с овчинку показалось… А покачался бы на перекладине, если бы не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умёту, был сам великий государь? (Тут он взял на себя вид важный и таинственный.) Ты крепко передо мною виноват, — продолжал он, — но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принуждён я был скрываться от своих недругов. То ли ещё увидишь! Так ли ещё тебя пожалую, когда получу своё государство! Обещаешься ли служить мне с усердием?

Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться.

— Чему ты усмехаешься? — спросил он меня, нахмурясь. — Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо.

Я смутился. Признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком — было подвергнуть себя погибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостию. Я

колебался. Пугачёв мрачно ждал моего ответа. Наконец (и ещё ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою. Я отвечал Пугачёву: «Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смышлёный: ты сам увидел бы, что я лукавствую».

— Кто же я таков, по твоему разумению?

— Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.

Пугачёв взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь,– сказал он,– чтоб я был государь Пётр Фёдорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев[49] не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?»

— Нет, — отвечал я с твёрдостию. — Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом

---

**[49] Примечания: 49**

Гришка Отрепьев — так в 1604 году называли ставленника панов, который выдавал себя за сына Ивана IV, царевича Димитрия. Он известен в истории под именем Лжедимитрия I.

деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург.

Пугачёв задумался. «А коли отпущу, — сказал он, — так обещаешься ли, по крайней мере, против меня не служить?»

— Как могу тебе в этом обещаться? — отвечал я. — Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя — пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня — спасибо; казнишь — Бог тебе судья; а я сказал тебе правду.

Моя искренность поразила Пугачёва. «Так и быть, — сказал он, ударя меня по плечу. — Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себе спать, и меня уж дрёма клонит».

*Пушкин пользуется приёмом контраста для того, что показать сложные, противоречивые отношения, сложившиеся между героями. То, как меняется настроение Пугачёва (он сначала смеётся, потом хмурится) в зависимости от ответов Гринёва, показывает, что он сомневается в правильности своего поступка, обдумывает,*

*как быть с молодым дворянином, для которого честь и достоинство оказываются самыми важными добродетелями. Гринёв тоже балансирует между страхом («я колебался») и уверенностью («отвечал я с твёрдостию»), потому что понимает, что от его поведения зависит его дальнейшая судьба. Смелость, которую демонстрирует Петр, несмотря на опасность, показывает, насколько он решителен в своем непростом нравственном выборе. В то же время и Пугачёв проявляет благородство: прекрасно понимая, что Гринёв может привести подкрепление, он все равно отпускает его, потому что помнит благодарность молодого барина и подаренный заячий тулуп.*

Я оставил Пугачёва и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звёзды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости всё было спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь и раздавались крики запоздалых гуляк. Я взглянул на дом священника. Ставни и ворота были заперты. Казалось, всё в нём было тихо.

Я пришёл к себе на квартиру и нашёл Савельича, горюющего по моём отсутствии. Весть о свободе моей обрадовала его несказанно. «Слава Тебе, Владыко! — сказал он перекрестившись. —

Чем свет оставим крепость и пойдём куда глаза глядят. Я тебе кое-что заготовил; покушай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой».

Я последовал его совету и, поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомлённый душевно и физически.

## Глава IX
## Разлука

*Сладко было спознаваться*
*Мне, прекрасная, с тобой;*
*Грустно, грустно расставать-*
*ся,*
*Грустно, будто бы с душой.*

***Херасков*[50]**

Рано утром разбудил меня барабан. Я пошёл на сборное место. Там строились уже толпы пугачёвские около виселицы, где всё ещё висели вчерашние жертвы. Казаки стояли верхами, солдаты под ружьём. Знамёна развевались. Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Все жители находились тут же, ожидая самозванца. У крыльца комендантского дома казак держал под уздцы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Я искал глазами тело комендантши. Оно было отнесено немного в сторону и прикрыто ро-

---

**[50] Примечания: 50**

Херасков М. М. (1733–1807) — поэт, драматург и романист. Эпиграф взят из его стихотворения «Разлука».

гожею. Наконец Пугачёв вышел из сеней. Народ снял шапки. Пугачёв остановился на крыльце и со всеми поздоровался. Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами, и он стал их метать пригоршнями. Народ с криком бросился их подбирать, и дело обошлось не без увечья. Пугачёва окружали главные из его сообщников. Между ими стоял и Швабрин. Взоры наши встретились; в моём он мог прочесть презрение, и он отворотился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачёв, увидев меня в толпе, кивнул мне головою и подозвал к себе. «Слушай, — сказал он мне. — Ступай сей же час в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, чтоб ожидали меня к себе через неделю. Присоветуй им встретить меня с детскою любовию и послушанием; не то не избежать им лютой казни. Счастливый путь, ваше благородие! — Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрина: — Вот вам, детушки, новый командир: слушайтесь его во всём, а он отвечает мне за вас и за крепость». С ужасом услышал я сии слова: Швабрин делался начальником крепости; Марья Ивановна оставалась в его власти! Боже, что с нею будет! Пугачёв сошёл с крыльца. Ему подвели лошадь. Он проворно

вскочил в седло, не дождавшись казаков, которые хотели было подсадить его.

В это время из толпы народа, вижу, выступил мой Савельич, подходит к Пугачёву и подаёт ему лист бумаги. Я не мог придумать, что из того выйдет. «Это что?» — спросил важно Пугачёв. «Прочитай, так изволишь увидеть», — отвечал Савельич. Пугачёв принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. «Что ты так мудрёно пишешь? — сказал он наконец. — Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Где мой обер-секретарь?»

Молодой малый в капральском мундире проворно подбежал к Пугачёву. «Читай вслух», — сказал самозванец, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чём дядька мой вздумал писать Пугачёву. Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее:

— «Два халата, миткалевый и шёлковый полосатый, на шесть рублей».

— Это что значит? — сказал, нахмурясь, Пугачёв.

— Прикажи читать далее, — отвечал спокойно Савельич.

Обер-секретарь продолжал:

— «Мундир из тонкого зелёного сукна, на семь

рублей.

Штаны белые суконные, на пять рублей.

Двенадцать рубах полотняных голландских с манжетами, на десять рублей.

Погребец с чайною посудою, на два рубля с полтиною…»

— Что за враньё? — прервал Пугачёв. — Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?

Савельич крякнул и стал объясняться:

— Это, батюшка, изволишь видеть, реестр[51] барскому добру, раскраденному злодеями…

— Какими злодеями? — спросил грозно Пугачёв.

— Виноват: обмолвился, — отвечал Савельич. — Злодеи не злодеи, а твои ребята таки пошарили да порастаскали. Не гневись: конь и о четырёх ногах, да спотыкается. Прикажи уж дочитать.

— Дочитывай, — сказал Пугачёв. Секретарь продолжал:

— «Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумаге, четыре рубля.

Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей.

Ещё заячий тулупчик, пожалованный твоей

---

**[51] Примечания: 51**

Реестр — письменный перечень, опись вещей.

милости на постоялом дворе, 15 рублей».

— Это что ещё! — вскричал Пугачёв, сверкнув огненными глазами.

Признаюсь, я перепугался за бедного моего дядьку. Он хотел было пуститься опять в свои объяснения, но Пугачёв его прервал: «Как ты смел лезть ко мне с такими пустяками? — вскричал он, выхватя бумагу из рук секретаря и бросив её в лицо Савельичу. — Глупый старик! Их обобрали: экая беда! Да ты должен, старый хрыч, вечно Бога молить за меня да за моих ребят за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками… Заячий тулуп! Я-те дам заячий тулуп! Да знаешь ли ты, что я с тебя живого кожу велю содрать на тулупы?»

— Как изволишь, — отвечал Савельич, — а я человек подневольный и за барское добро должен отвечать.

Пугачёв был, видно, в припадке великодушия. Он отворотился и отъехал, не сказав более ни слова. Швабрин и старшины последовали за ним. Шайка выступила из крепости в порядке. Народ пошёл провожать Пугачёва. Я остался на площади один с Савельичем. Дядька мой держал в руках свой реестр и рассматривал его с видом глубокого сожаления.

Видя моё доброе согласие с Пугачёвым, он думал употребить оное в пользу; но мудрое намерение ему не удалось. Я стал было его бранить за неуместное усердие и не мог удержаться от смеха. «Смейся, сударь, — отвечал Савельич, — смейся; а как придётся нам сызнова заводиться всем хозяйством, так посмотрим, смешно ли будет».

Я спешил в дом священника увидеться с Марьей Ивановной. Попадья встретила меня с печальным известием. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала без памяти и в бреду. Попадья ввела меня в её комнату. Я тихо подошёл к её кровати. Перемена в её лице поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоял я перед нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утешали. Мрачные мысли волновали меня. Состояние бедной, беззащитной сироты, оставленной посреди злобных мятежников, собственное моё бессилие устрашали меня. Швабрин, Швабрин пуще всего терзал моё воображение. Облечённый властию от самозванца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная девушка — невинный предмет его ненависти, он мог решиться на всё. Что мне было делать? Как подать ей помощь? Как освободить из рук злодея? Оставалось од-

но средство: я решился тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение Белогорской крепости и, по возможности, тому содействовать. Я простился с священником и с Акулиной Памфиловной, с жаром поручая ей ту, которую почитал уже своею женою. Я взял руку бедной девушки и поцеловал её, орошая слезами. «Прощайте, — говорила мне попадья, провожая меня, — прощайте, Пётр Андреич. Авось увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и пишите к нам почаще. Бедная Марья Ивановна, кроме вас, не имеет теперь ни утешения, ни покровителя».

Вышед на площадь, я остановился на минуту, взглянул на виселицу, поклонился ей, вышел из крепости и пошёл по Оренбургской дороге, сопровождаемый Савельичем, который от меня не отставал.

Я шёл, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собою конский топот. Оглянулся; вижу: из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводья и делая издали мне знаки. Я остановился и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав, слез с своей лошади и сказал, отдавая мне поводья другой: «Ваше благородие! Отец наш вам жалует лошадь и шубу с своего плеча (к седлу привязан был овчинный

тулуп).

*Пугачёв отдает долг Гринёву, тем самым как бы „обнуляя“ отношения между ними, намекая, что больше на великодушие можно не рассчитывать.*

Да еще, — примолвил, запинаясь, урядник, — жалует он вам… полтину денег… да я растерял её дорогою; простите великодушно». Савельич посмотрел на него косо и проворчал: «Растерял дорогою! А что же у тебя побрякивает за пазухой? Бессовестный!» — «Что у меня за пазухой-то побрякивает? — возразил урядник, нимало не смутясь. — Бог с тобою, старинушка! Это бренчит уздечка, а не полтина». — «Добро, — сказал я, прерывая спор. — Благодари от меня того, кто тебя прислал; а растерянную полтину постарайся подобрать на возвратном пути и возьми себе на водку». — «Очень благодарен, ваше благородие, — отвечал он, поворачивая свою лошадь, — вечно за вас буду Бога молить». При сих словах он поскакал назад, держась одной рукою за пазуху, и через минуту скрылся из виду.

Я надел тулуп и сел верхом, посадив за собою Савельича. «Вот видишь ли, сударь,– сказал старик,– что я недаром подал мошеннику челоби-

тье[52]: вору-то стало совестно, хоть башкирская долговязая кляча да овчинный тулуп не стоят и половины того, что они, мошенники, у нас украли, и того, что ты ему сам изволил пожаловать; да всё же пригодится, а с лихой собаки хоть шерсти клок».

**[52] Примечания: 52**

Челобитье — прошение. При подаче прошения в старину «били челом» (лбом), то есть кланялись до земли.

# Глава X
# Осада города

*Заняв луга и горы,*
*С вершины, как орёл, бросал на град он взоры.*
*За станом повелел соорудить раскат*
*И, в нём перуны скрыв, в нощи привесть под град.*

***Херасков***[53]

Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укреплений под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров; другие лопатками копали землю; на валу каменщики таскали кирпич и чинили городскую стену. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов. Как

---

**[53] Примечания: 53**

Эпиграф взят из поэмы М. М. Хераскова «Россияда». Раскат — помост для пушек. Перун — древнеславянский бог грома и молнии; перуны — поэтический образ, обозначающий пушечные снаряды.

скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повёл меня прямо в дом генерала.

Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнажённые дыханием осени, и с помощию старого садовника бережно их укутывал тёплой соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему всё. Старик слушал меня со вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. «Бедный Миронов! — сказал он, когда кончил я свою печальную повесть. — Жаль его: хороший был офицер. И мадам Миронов добрая была дама, и какая майстерица грибы солить! А что Маша, капитанская дочка?» Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попадьи. «Ай, ай, ай! — заметил генерал. — Это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкою?» Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко и что, вероятно, его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных её жителей. Генерал покачал головою с видом недоверчивости. «Посмотрим, посмотрим, — сказал он. — Об этом мы ещё успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю: сегодня

у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о бездельнике Пугачёве и об его войске. Теперь покамест поди отдохни».

Я пошёл на квартиру, мне отведённую, где Савельич уже хозяйничал, и с нетерпением стал ожидать назначенного времени. Читатель легко себе представит, что я не преминул явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. В назначенный час я уже был у генерала.

Я застал у него одного из городских чиновников, помнится, директора таможни[54], толстого и румяного старичка в глазетовом[55] кафтане. Он стал расспрашивать меня о судьбе Ивана Кузмича, которого называл кумом, и часто прерывал мою речь дополнительными вопросами и нравоучительными замечаниями, которые если и не обличали в нём человека сведущего в военном искусстве, то, по крайней мере, обнаруживали сметливость и природный ум. Между тем собрались и прочие приглашённые. Между

---

**[54] Примечания: 54**

Таможня — учреждение, контролирующее провоз товаров через границу.

**[55] Примечания: 55**

Глазетовый — из глазета, парчовой ткани, затканной золотом или серебром.

ими, кроме самого генерала, не было ни одного военного человека. Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, в чём состояло дело. «Теперь, господа,– продолжал он,– надлежит решить, как нам действовать противу мятежников: *наступательно* или *оборонительно*? Каждый из оных способов имеет свою выгоду и невыгоду. Действие наступательное представляет более надежды на скорейшее истребление неприятеля; действие оборонительное более верно и безопасно… Итак, начнём собирать голоса по законному порядку, то есть начиная с младших по чину. Господин прапорщик! — продолжал он, обращаясь ко мне. — Извольте объяснить нам ваше мнение».

Я встал и, в коротких словах описав сперва Пугачёва и шайку его, сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять противу правильного оружия.

Мнение моё было принято чиновниками с явною неблагосклонностию. Они видели в нём опрометчивость и дерзость молодого человека. Поднялся ропот, и я услышал явственно слово «молокосос», произнесённое кем-то вполголоса. Генерал обратился ко мне и сказал с улыбкою: «Господин прапорщик! Первые голоса на воен-

ных советах подаются обыкновенно в пользу движений наступательных; это законный порядок. Теперь станем продолжать собирание голосов. Господин коллежский советник![56] скажите нам ваше мнение!»

Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью чашку, значительно разбавленную ромом, и отвечал генералу: «Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно».

— Как же так, господин коллежский советник? — возразил изумлённый генерал. — Других способов тактика не представляет: движение оборонительное или наступательное…

— Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно.

— Эх-хе-хе! мнение ваше весьма благоразумно. Движения подкупательные тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать за голову бездельника… рублей семьдесят или даже сто… из секретной суммы…

— И тогда, — прервал таможенный директор, — будь я киргизский баран, а не коллежский советник, если эти воры не выдадут нам своего

**[56] Примечания: 56**

Коллежский советник — гражданский чин в царской России, соответствовавший чину полковника.

атамана, скованного по рукам и по ногам.

— Мы ещё об этом подумаем и потолкуем, — отвечал генерал. — Однако надлежит во всяком случае предпринять и военные меры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку.

Все мнения оказались противными моему. Все чиновники говорили о ненадёжности войск, о неверности удачи, об осторожности и тому подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться под прикрытием пушек за крепкой каменной стеною, нежели на открытом поле испытывать счастие оружия. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытряхнул пепел из трубки и произнёс следующую речь:

— Государи мои! должен я вам объявить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен, ибо мнение сие основано на всех правилах здравой тактики, которая всегда почти наступательные движения оборонительным предпочитает.

Тут он остановился и стал набивать свою трубку. Самолюбие моё торжествовало. Я гордо посмотрел на чиновников, которые между собою перешёптывались с видом неудовольствия и беспокойства.

— Но, государи мои, — продолжал он, выпустив

вместе с глубоким вздохом густую струю табачного дыму, — я не смею взять на себя столь великую ответственность, когда дело идёт о безопасности вверенных мне провинций её императорским величеством, всемилостивейшей моею государыней. Итак, я соглашаюсь с большинством голосов, которое решило, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ожидать осады, нападения неприятеля силой артиллерии и (буде окажется возможным) вылазками — отражать.

Чиновники в свою очередь насмешливо поглядели на меня. Совет разошёлся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который, наперекор собственному убеждению, решался следовать мнениям людей несведущих и неопытных.

Спустя несколько дней после сего знаменитого совета узнали мы, что Пугачёв, верный своему обещанию, приближился к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их вдесятеро увеличилось со времени последнего приступа, коему был я свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачёвым в малых крепостях, им уже покорённых. Вспомня решение совета, я предвидел долговременное заключение в стенах оренбург-

ских и чуть не плакал от досады.

Не стану описывать оренбургскую осаду[57], которая принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что сия осада по неосторожности местного начальства была гибельна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Легко можно себе вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая несносная. Все с унынием ожидали решения своей участи; все охали от дороговизны, которая в самом деле была ужасна. Жители привыкли к ядрам, залетавшим на их дворы; даже приступы Пугачёва уж не привлекали общего любопытства. Я умирал со скуки. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о её судьбе меня мучила. Единственное развлечение моё состояло в наездничестве[58]. По милости Пугачёва, я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищею и на которой ежедневно выезжал я за город

**[57] Примечания: 57**

Оренбургская осада. — Осада Оренбурга войсками Пугачёва длилась около шести месяцев (с начала октября 1773 по март 1774 года).

**[58] Примечания: 58**

Наездничество — *здесь*: вооружённая вылазка за стены осаждённой крепости.

перестреливаться с пугачёвскими наездниками. В этих перестрелках перевес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и доброконных. Тощая городовая конница не могла их одолеть. Иногда выходила в поле и наша голодная пехота; но глубина снега мешала ей действовать удачно противу рассеянных наездников. Артиллерия тщетно гремела с высоты вала, а в поле вязла и не двигалась по причине изнурения лошадей. Таков был образ наших военных действий! И вот что оренбургские чиновники называли осторожностию и благоразумием!

Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, отставшего от своих товарищей; я готов был уже ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал:

— Здравствуйте, Пётр Андреич! Как вас Бог милует?

Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался.

— Здравствуй, Максимыч, — сказал я ему. — Давно ли из Белогорской?

— Недавно, батюшка Пётр Андреич; только вчера воротился. У меня есть к вам письмецо.

— Где ж оно? — вскричал я, весь так и вспых-

нув.

— Со мною, — отвечал Максимыч, положив руку за пазуху. — Я обещался Палаше уж как-нибудь да вам доставить. — Тут он подал мне сложенную бумажку и тотчас ускакал. Я развернул её и с трепетом прочёл следующие строки:

«Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери: не имею на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали мне добра и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю Бога, чтоб это письмо как-нибудь до вас дошло! Максимыч обещал вам его доставить. Палаша слышала также от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках и что вы совсем себя не бережёте и не думаете о тех, которые за вас со слезами Бога молят. Я долго была больна; а когда выздоровела, Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застращав Пугачёвым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выдти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, будто бы я её племянница. А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женою такого человека, каков

Алексей Иванович. Он обходится со мною очень жестоко и грозится, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезёт меня в лагерь к злодею, и с вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой[59]. Я просила Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать ещё три дня; а коли через три дня за него не выду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка Пётр Андреич! вы один у меня покровитель; заступитесь за меня, бедную. Упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее сикурсу да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная бедная сирота

*Марья Миронова*».

*На самом деле Харлову звали Татьяной, а отчество ее отца, полковника Григория Мироновича Елагина, Пушкин использовал в качестве фамилии для капитана Миронова. Мужа и родителей Харловой зверски убили, она же стала наложницей Пугачёва, а потом ее вместе с малолетним братом расстреляли. Упоминание страшной судьбы девушки, которая может считаться одним из прототипов Маши Мироновой, позволяет лучше понять, в какой беде оказалась пушкинская*

---

**[59] Примечания: 59**

Харлова Елизавета — жена коменданта Нижнеозёрной крепости; Пугачёвым была первоначально пощажена, но затем казнена по настоянию его приближённых. О ней в повести говорится и выше.

*героиня. Даже без знаний о том, что случилось с Харловой на самом деле, не трудно догадаться, что Швабрин, пытаясь склонить Машу к замужеству, не только держит ее в плену, но и угрожает жесточайшей расправой. Но даже такая страшная участь не способна повлиять на решение капитанской дочки, которую до этого обвиняли в трусости: она не готова пойти замуж за нелюбимого даже под страхом смерти.*

Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошёл. Я пустился в город, без милосердия пришпоривая бедного моего коня. Дорогою придумывал я и то и другое для избавления бедной девушки и ничего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу и опрометью к нему вбежал.

Генерал ходил взад и вперёд по комнате, куря свою пенковую трубку[60]. Увидя меня, он остановился. Вероятно, вид мой поразил его; он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода.

— Ваше превосходительство, — сказал я ему, — прибегаю к вам, как к отцу родному; ради Бога, не откажите мне в моей просьбе: дело идёт о

**[60] Примечания: 60**

Пенковая трубка — трубка для курения из лёгкого огнестойкого пористого минерала.

счастии всей моей жизни.

— Что такое, батюшка? — спросил изумлённый старик. — Что я могу для тебя сделать? Говори.

— Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и полсотни казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость.

Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошёл (в чём почти и не ошибался).

— Как это? Очистить Белогорскую крепость? — сказал он наконец.

— Ручаюсь вам за успех, — отвечал я с жаром. — Только отпустите меня.

— Нет, молодой человек, — сказал он, качая головою. — На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресечённая коммуникация…

Я испугался, увидя его завлечённого в военные рассуждения, и спешил его прервать.

— Дочь капитана Миронова, — сказал я ему, — пишет ко мне письмо: она просит помощи; Швабрин принуждает её выйти за него замуж.

— Неужто? О, этот Швабрин превеликий

Schelm[61], и если попадётся ко мне в руки, то я велю его судить в двадцать четыре часа, и мы расстреляем его на парапете крепости! Но покамест надобно взять терпение…

— Взять терпение! — вскричал я вне себя. — А он между тем женится на Марье Ивановне!..

— О! — возразил генерал. — Это ещё не беда: лучше ей быть покамест женою Швабрина: он теперь может оказать ей протекцию; а когда его расстреляем, тогда, Бог даст, сыщутся ей и женишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят; то есть хотел я сказать, что вдовушка скорее найдёт себе мужа, нежели девица.

— Скорее соглашусь умереть, — сказал я в бешенстве, — нежели уступить её Швабрину!

— Ба, ба, ба, ба! — сказал старик. — Теперь понимаю: ты, видно, в Марью Ивановну влюблён. О, дело другое! Бедный малый! Но всё же я никак не могу дать тебе роту солдат и полсотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоразумна; я не могу взять её на свою ответственность.

Я потупил голову; отчаяние мною овладело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей: в чём оная состояла, читатель увидит из следующей главы,

---

**[61] Примечания: 61**
Плут *(нем.)*.

как говорят старинные романисты.

# Глава XI
# Мятежная слобода

*В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп.*
*«Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» —*
*Спросил он ласково.*

***А. Сумароков*[62]**

Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещанием. «Охота тебе, сударь, переведываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело? Не ровён час: ни за что пропадёшь. И добро бы уж ходил ты на турку или на шведа, а то грех и сказать на кого».

Я прервал его речь вопросом: сколько у меня всего-на́все денег? «Будет с тебя, — отвечал он с довольным видом. — Мошенники как там ни шарили, а я всё-таки успел утаить». И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный коше-

**[62] Примечания: 62**
Эпиграф к этой главе сочинён самим Пушкиным, так как у Сумарокова этих стихов не обнаружено.

лёк, полный серебра. «Ну, Савельич, — сказал я ему, — отдай же мне теперь половину, а остальное возьми себе. Я еду в Белогорскую крепость».

— Батюшка Пётр Андреич! — сказал добрый дядька дрожащим голосом. — Побойся Бога; как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от разбойников! Пожалей ты хоть своих родителей, коли сам себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? Погоди маленько: войска придут, переловят мошенников; тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны.

Но намерение моё было твёрдо принято.

— Поздно рассуждать, — отвечал я старику. — Я должен ехать, я не могу не ехать. Не тужи, Савельич: Бог милостив; авось увидимся! Смотри же, не совестись и не скупись. Покупай, что тебе будет нужно, хоть втридорога. Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня я не ворочусь…

— Что ты это, сударь? — прервал меня Савельич. — Чтоб я тебя пустил одного! Да этого и во сне не проси. Коли ты уж решился ехать, то я хоть пешком да пойду за тобой, а тебя не покину. Чтоб я стал без тебя сидеть за каменной стеною! Да разве я с ума сошёл? Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану.

Я знал, что с Савельичем спорить было нечего,

и позволил ему приготовляться в дорогу. Через полчаса я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств кормить её. Мы приехали к городским воротам; караульные нас пропустили; мы выехали из Оренбурга.

Начинало смеркаться. Путь мой шёл мимо Бердской слободы, пристанища пугачёвского. Прямая дорога занесена была снегом; но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мною издали и кричал мне поминутно: «Потише, сударь, ради Бога потише. Проклятая клячонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того и гляди… Пётр Андреич… батюшка Пётр Андреич!.. Не погуби!.. Господи Владыко, пропадёт барское дитя!»

Вскоре засверкали бердские огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплениям слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Я надеялся объехать слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой человек пять мужиков, вооружённых дубинами: это был передовой

караул пугачёвского пристанища. Нас окликали. Не зная пароля, я хотел молча проехать мимо их; но они меня тотчас окружили, и один из них схватил лошадь мою за узду. Я выхватил саблю и ударил мужика по голове; шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали; я воспользовался этой минутою, пришпорил лошадь и поскакал.

Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как вдруг, оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною не было. Бедный старик на своей хромой лошади не мог ускакать от разбойников. Что было делать? Подождав его несколько минут и удостоверясь в том, что он задержан, я поворотил лошадь и отправился его выручать.

Подъезжая к оврагу, услышал я издали шум, крики и голос моего Савельича. Я поехал скорее и вскоре очутился снова между караульными мужиками, остановившими меня несколько минут тому назад. Савельич находился между ими. Они стащили старика с его клячи и готовились вязать. Прибытие моё их обрадовало. Они с криком бросились на меня и мигом стащили с лошади. Один из них, по-видимому главный, объявил нам, что сейчас поведёт нас к государю. «А наш батюш-

ка, — прибавил он, — волен приказать: сейчас ли вас повесить, али дождаться свету Божия». Я не противился; Савельич последовал моему примеру, и караульные повели нас с торжеством.

Мы перебрались через овраг и вступили в слободу. Во всех избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу; но никто в темноте нас не заметил и не узнал во мне оренбургского офицера. Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрёстка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. «Вот и дворец, — сказал один из мужиков, — сейчас об вас доложим». Он вошёл в избу. Я взглянул на Савельича; старик крестился, читая про себя молитву. Я дожидался долго, наконец мужик воротился и сказал мне: «Ступай: наш батюшка велел впустить офицера».

Я вошёл в избу, или во дворец, как называли её мужики. Она освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеены были золотою бумагою; впрочем, лавки, стол, рукомойник на верёвочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками, — всё было как в обыкновенной избе. Пугачёв сидел под образами, в красном кафтане, в высокой шапке и важно подбочась. Около него стояло несколько из

главных его товарищей, с видом притворного подобострастия. Видно было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга пробудила в бунтовщиках сильное любопытство и что они приготовились встретить меня с торжеством. Пугачёв узнал меня с первого взгляду. Поддельная важность его вдруг исчезла. «А, ваше благородие! — сказал он мне с живостью. — Как поживаешь? Зачем тебя Бог принёс?» Я отвечал, что ехал по своему делу и что люди его меня остановили. «А по какому делу?» — спросил он меня. Я не знал, что отвечать. Пугачёв, полагая, что я не хочу объясняться при свидетелях, обратился к своим товарищам и велел им выйти. Все послушались, кроме двух, которые не тронулись с места. «Говори смело при них, — сказал мне Пугачёв, — от них я ничего не таю». Я взглянул наискось на наперсников самозванца. Один из них, тщедушный и сгорбленный старичок с седою бородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. Но век не забуду его товарища. Он был высокого росту, дороден и широкоплеч и показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому широкому лицу

выражение неизъяснимое. Он был в красной рубахе, киргизском халате и в казацких шароварах. Первый (как узнал я после) был беглый капрал Белобородов, второй — Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей), ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников. Несмотря на чувства, исключительно меня волновавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился, сильно развлекало моё воображение. Но Пугачёв привёл меня в себя своим вопросом: «Говори: по какому же делу выехал ты из Оренбурга?»

Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что провидение, вторично приведшее меня к Пугачёву, подавало мне случай привести в действо моё намерение. Я решился им воспользоваться и, не успев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачёва:

— Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают.

Глаза у Пугачёва засверкали. «Кто из моих людей смеет обижать сироту? — закричал он. — Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдёт. Говори: кто виноватый?»

— Швабрин виноватый, — отвечал я. — Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел, больную, у попадьи, и насильно хочет на ней

жениться.

— Я проучу Швабрина, — сказал грозно Пугачёв. — Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу.

— Прикажи слово молвить, — сказал Хлопуша хриплым голосом. — Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники; не пугай же дворян, казня их по первому наговору.

— Нечего их ни жалеть, ни жаловать!– сказал старичок в голубой ленте.– Швабрина сказнить не беда; а не худо и господина офицера допросить порядком: зачем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признаёт, так нечего у тебя и управы искать, а коли признаёт, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную[63] да запалить там огоньку: мне сдаётся, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров.

Логика старого злодея показалась мне довольно убедительною. Мороз побежал по всему моему телу при мысли, в чьих руках я находился. Пугачёв

---

**[63] Примечания: 63**

Приказная — изба, где допрашивали арестованных.

заметил моё смущение. «Ась, ваше благородие? — сказал он мне подмигивая. — Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?»

Насмешка Пугачёва возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что нахожусь в его власти и что он волен поступать со мною, как ему будет угодно.

— Добро, — сказал Пугачёв. — Теперь скажи, в каком состоянии ваш город.

— Слава Богу, — отвечал я, — всё благополучно.

— Благополучно? — повторил Пугачёв. — А народ мрёт с голоду!

Самозванец говорил правду; но я по долгу присяги стал уверять, что всё это пустые слухи и что в Оренбурге довольно всяких запасов.

— Ты видишь, — подхватил старичок, — что он тебя в глаза обманывает. Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину, и то за честь; а его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на той же виселице повесь и этого молодца, чтоб никому не было завидно.

Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачёва. К счастию, Хлопуша стал противоречить своему товарищу.

— Полно, Наумыч, — сказал он ему. — Тебе бы всё душить да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чём душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?

— Да ты что за угодник? — возразил Белобородов. — У тебя-то откуда жалость взялась?

— Конечно, — отвечал Хлопуша, — и я грешен, и эта рука (тут он сжал свой костлявый кулак и, засуча рукава, открыл косматую руку), и эта рука повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутье да в тёмном лесу, не дома, сидя за печью; кистенём и обухом, а не бабьим наговором.

Старик отворотился и проворчал слова: «Рваные ноздри!»

— Что ты там шепчешь, старый хрыч? — закричал Хлопуша. — Я тебе дам рваные ноздри; погоди, придёт и твоё время; Бог даст, и ты щипцов понюхаешь… А покамест смотри, чтоб я тебе бородишки не вырвал!

— Господа енаралы! — провозгласил важно Пугачёв. — Полно вам ссориться. Не беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной; беда, если наши кобели меж собою перегрызутся. Ну, помиритесь.

Хлопуша и Белобородов не сказали ни слова и мрачно смотрели друг на друга. Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачёву, сказал ему с весёлым видом: «Ах! я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я и не добрался бы до города и замёрз бы на дороге».

Уловка моя удалась. Пугачёв развеселился. «Долг платежом красен, — сказал он, мигая и прищуриваясь. — Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж не зазноба ли сердцу молодецкому? а?»

— Она невеста моя, — отвечал я Пугачёву, видя благоприятную перемену погоды и не находя нужды скрывать истину.

— Твоя невеста! — закричал Пугачёв. — Что ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим и на свадьбе твоей попируем! — Потом, обращаясь к Белобородову: — Слушай, фельдмаршал! Мы с его благородием старые приятели; сядем-ка да поужинаем; утро вечера мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем.

Я рад был отказаться от предлагаемой чести, но делать было нечего. Две молодые казачки, дочери хозяина избы, накрыли стол белой ска-

тертью, принесли хлеба, ухи и несколько штофов с вином и пивом, и я вторично очутился за одною трапезою с Пугачёвым и с его страшными товарищами.

Оргия, коей я был невольным свидетелем, продолжалась до глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников. Пугачёв задремал, сидя на своём месте; товарищи его встали и дали мне знак оставить его. Я вышел вместе с ними. По распоряжению Хлопуши, караульный отвёл меня в приказную избу, где я нашёл и Савельича и где меня оставили с ним взаперти. Дядька был в таком изумлении при виде всего, что происходило, что не сделал мне никакого вопроса. Он улёгся в темноте и долго вздыхал и охал; наконец захрапел, а я предался размышлениям, которые во всю ночь ни на одну минуту не дали мне задремать.

Поутру пришли меня звать от имени Пугачёва. Я пошёл к нему. У ворот его стояла кибитка, запряжённая тройкою татарских лошадей. Народ толпился на улице. В сенях встретил я Пугачёва; он был одет по-дорожному, в шубе и в киргизской шапке. Вчерашние собеседники окружали его, приняв на себя вид подобострастия, который сильно противоречил всему, чему я был свидетелем накануне. Пугачёв весело со мною

поздоровался и велел мне садиться с ним в кибитку.

Мы уселись. «В Белогорскую крепость!» — сказал Пугачёв широкоплечему татарину, стоя правящему тройкою. Сердце моё сильно забилось. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела…

«Стой! стой!» — раздался голос, слишком мне знакомый, — и я увидел Савельича, бежавшего нам навстречу. Пугачёв велел остановиться. «Батюшка Пётр Андреич! — кричал дядька. — Не покинь меня на старости лет посреди этих мошен…» — «А, старый хрыч! — сказал ему Пугачёв. — Опять Бог дал свидеться. Ну, садись на облучок».

— Спасибо, государь, спасибо, отец родной! — говорил Савельич усаживаясь. — Дай Бог тебе сто лет здравствовать за то, что меня, старика, призрил и успокоил. Век за тебя буду Бога молить, а о заячьем тулупе и упоминать уж не стану.

Этот заячий тулуп мог наконец не на шутку рассердить Пугачёва. К счастию, самозванец или не расслыхал, или пренебрёг неуместным намёком. Лошади поскакали; народ на улице останавливался и кланялся в пояс. Пугачёв кивал головою на обе стороны. Через минуту мы выехали из

слободы и помчались по гладкой дороге.

Легко можно себе представить, что чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен я был увидеться с той, которую почитал уже для меня потерянною. Я воображал себе минуту нашего соединения… Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках того, кто вызывался быть и избавителем моей любезной! Пугачёв не знал, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабрин мог открыть ему всё; Пугачёв мог проведать истину и другим образом… Тогда что станется с Марьей Ивановной? Холод пробегал по моему телу, и волоса становились дыбом…

Вдруг Пугачёв прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом:

— О чём, ваше благородие, изволил задуматься?

— Как не задуматься, — отвечал я ему. — Я офицер и дворянин; вчера ещё дрался противу тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастие всей моей жизни зависит от тебя.

— Что ж? — спросил Пугачёв. — Страшно тебе?

Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.

— И ты прав, ей-богу прав! — сказал самозванец. — Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо; а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион и что надобно тебя пытать и повесить; но я не согласился, — прибавил он, понизив голос, чтоб Савельич и татарин не могли его услышать, — помня твой стакан вина и заячий тулуп. Ты видишь, что я не такой ещё кровопийца, как говорит обо мне ваша братья.

Я вспомнил взятие Белогорской крепости; но не почёл нужным его оспоривать и не отвечал ни слова.

— Что говорят обо мне в Оренбурге? — спросил Пугачёв, помолчав немного.

— Да говорят, что с тобою сладить трудновато; нечего сказать: дал ты себя знать.

Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие.

— Да!– сказал он с весёлым видом.– Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении

под Юзеевой?[64] Сорок енаралов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?

Хвастливость разбойника показалась мне забавна.

— Сам как ты думаешь?– сказал я ему,– управился ли бы ты с Фридериком?[65]

— С Фёдор Фёдоровичем? А как же нет? С вашими енаралами ведь я же управляюсь; а они его бивали. Доселе оружие моё было счастливо. Дай срок, то ли ещё будет, как пойду на Москву.

— А ты полагаешь идти на Москву?

Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса:

— Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою.

— То-то! — сказал я Пугачёву. — Не лучше ли тебе отстать от них самому, заблаговременно, да

---

**[64] Примечания: 64**

Юзеева — деревня в ста двадцати верстах от Оренбурга, под которой войска Пугачёва 9 ноября 1773 года нанесли поражение правительственным войскам.

**[65] Примечания: 65**

Фридерик — прусский король Фридрих II, сын Фридриха I, почему Пугачёв называет его ниже Фёдором Фёдоровичем. Сам Пугачёв участвовал в Семилетней войне России с Пруссией, в которой Пруссия потерпела поражение.

прибегнуть к милосердию государыни?

Пугачёв горько усмехнулся.

— Нет, — отвечал он, — поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать, как начал. Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою.

— А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его пеплом пушку и выпалили!

— Слушай, — сказал Пугачёв с каким-то диким вдохновением. — Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орёл спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живёшь ты на белом свете триста лет, а я всего-навсе только тридцать три года? — Оттого, батюшка, — отвечал ему ворон, — что ты пьёшь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орёл подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орёл да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орёл клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст! — Какова калмыцкая сказка?

— Затейлива, — отвечал я ему. — Но жить убийством и разбоем значит, по мне, клевать мертвечину.

Пугачёв посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления. Татарин затянул унылую песню; Савельич, дремля, качался на облучке. Кибитка летела по гладкому зимнему пути… Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу Яика, с частоколом и с колокольней — и через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость.

## Глава XII
## Сирота

*Как у нашей у яблонки*
*Ни верхушки нет, ни отросточек;*
*Как у нашей у княгинюшки*
*Ни отца нету, ни матери.*
*Снарядить-то её некому,*
*Благословить-то её некому.*

***Свадебная песня***

Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачёва и толпою бежал за нами. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду. Изменник помог Пугачёву вылезть из кибитки, в подлых выражениях изъявляя свою радость и усердие. Увидя меня, он смутился; но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: «И ты наш? Давно бы так!» Я отворотился от него и ничего не отвечал.

Сердце моё заныло, когда очутились мы в давно знакомой комнате, где на стене висел ещё

диплом покойного коменданта как печальная эпитафия прошедшему времени. Пугачёв сел на том диване, на котором, бывало, дремал Иван Кузмич, усыплённый ворчанием своей супруги. Швабрин сам поднёс ему водки. Пугачёв выпил рюмку и сказал ему, указав на меня: «Попотчуй и его благородие». Швабрин подошёл ко мне с своим подносом; но я вторично от него отворотился. Он казался сам не свой. При обыкновенной своей сметливости, он, конечно, догадался, что Пугачёв был им недоволен. Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивостию. Пугачёв осведомился о состоянии крепости, о слухах про неприятельские войска и тому подобном и вдруг спросил его неожиданно:

— Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне её.

Швабрин побледнел, как мёртвый.

— Государь, — сказал он дрожащим голосом… — Государь, она не под караулом… она больна… она в светлице лежит.

— Веди ж меня к ней, — сказал самозванец, вставая с места.

Отговориться было невозможно. Швабрин повёл Пугачёва в светлицу Марьи Ивановны. Я за ними последовал.

— Государь! — сказал он. — Вы властны требовать от меня что вам угодно; но не прикажите постороннему входить в спальню к жене моей.

Я затрепетал.

— Так ты женат! — сказал я Швабрину, готовяся его растерзать.

— Тише! — прервал меня Пугачёв. — Это моё дело. А ты, — продолжал он, обращаясь к Швабрину, — не умничай и не ломайся: жена ли она тебе или не жена, а я веду к ней кого хочу. Ваше благородие, ступай за мною.

У дверей светлицы Швабрин опять остановился и сказал прерывающимся голосом:

— Государь, предупреждаю вас, что она в белой горячке и третий день, как бредит без умолку.

— Отворяй! — сказал Пугачёв.

Швабрин стал искать у себя в карманах и сказал, что не взял с собою ключа, Пугачёв толкнул дверь ногою; замок отскочил; дверь отворилась, и мы вошли.

Я взглянул и обмер. На полу, в крестьянском оборванном платье, сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрёпанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтём хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало — не помню.

Пугачёв посмотрел на Швабрина и сказал с горькой усмешкою:

— Хорош у тебя лазарет! — Потом, подошед к Марье Ивановне: — Скажи мне, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? в чём ты перед ним провинилась?

— Мой муж! — повторила она. — Он мне не муж. Я никогда не буду его женою! Я лучше решилась умереть и умру, если меня не избавят.

Пугачёв взглянул грозно на Швабрина.

— И ты смел меня обманывать! — сказал он ему. — Знаешь ли, бездельник, чего ты достоин?

Швабрин упал на колени… В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака. Пугачёв смягчился.

*Поведение Швабрина выстраивает двойное антиподство: он является антиподом не только Гринёву (который ни при каких обстоятельствах не опустился бы до предательства и трусости), но и Пугачёву. Несмотря на то, что самозванец проявляет жестокость, он все же намного более симпатичен автору и Гринёву и, соответственно, читателю, чем предатель и трус Швабрин. Пугачёв, беглый казак, но по-царски великодушный*

*и щедрый, ведет себя благороднее, чем потомственный дворянин Швабрин, что подчеркивает пушкинскую идею о том, как многолик и двойственен человек.*

— Милую тебя на сей раз, — сказал он Швабрину, — но знай, что при первой вине тебе припомнится и эта.

Потом обратился он к Марье Ивановне и сказал ей ласково:

— Выходи, красная девица; дарую тебе волю. Я государь.

Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед нею убийца её родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. Я кинулся к ней, но в эту минуту очень смело в комнату втёрлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своею барышнею. Пугачёв вышел из светлицы, и мы трое сошли в гостиную.

— Что, ваше благородие? — сказал, смеясь, Пугачёв. — Выручили красную девицу! Как думаешь, не послать ли за попом да не заставить ли его обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду посажёным отцом, Швабрин дружкою; закутим, запьём — и ворота запрём!

Чего я опасался, то и случилось. Швабрин, услы-

ша предложение Пугачёва, вышел из себя.

— Государь! — закричал он в исступлении. — Я виноват, я вам солгал; но и Гринёв нас обманывает. Эта девушка не племянница здешнего попа: она дочь Ивана Миронова, который казнён при взятии здешней крепости.

Пугачёв устремил на меня огненные свои глаза.

— Это что ещё? — спросил он меня с недоумением.

— Швабрин сказал тебе правду, — отвечал я с твёрдостию.

— Ты мне этого не сказал, — заметил Пугачёв, у коего лицо омрачилось.

— Сам ты рассуди, — отвечал я ему, — можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы её загрызли. Ничто её бы не спасло!

— И то правда, — сказал, смеясь, Пугачёв. — Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка-попадья, что обманула их.

— Слушай, — продолжал я, видя его доброе расположение. — Как тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу… Но Бог видит, что жизнию моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести

моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Доверши, как начал: отпусти меня с бедной сиротою, куда нам Бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души…

Казалось, суровая душа Пугачёва была тронута. «Ин быть по-твоему! — сказал он. — Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези её куда хочешь, и дай вам Бог любовь да совет!»

*Пугачёв, который уже ничем не обязан Гринёву, снова проявляет поразительное великодушие, как бы доказывая, что не просто так народ принял его как царя — он способен на поистине широкие жесты. К тому же обещание Гринёва «каждый день Бога молить о спасении грешной души» трогает Пугачёва, подчеркивая некую уже устоявшуюся связь между героями, которая стала возможна только благодаря божественному провидению.*

Тут он оборотился к Швабрину и велел выдать мне пропуск во все заставы и крепости, подвластные ему. Швабрин, совсем уничтоженный, стоял как остолбенелый. Пугачёв отправился осматривать крепость. Швабрин его сопровождал; а я

остался под предлогом приготовления к отъезду.

Я побежал в светлицу. Двери были заперты. Я постучался. «Кто там?» — спросила Палаша. Я назвался. Милый голосок Марьи Ивановны раздался из-за дверей: «Погодите, Пётр Андреич. Я переодеваюсь. Ступайте к Акулине Памфиловне: я сейчас туда же буду».

Я повиновался и пошёл в дом отца Герасима. И он и попадья выбежали ко мне навстречу. Савельич их уже предупредил. «Здравствуйте, Пётр Андреич, — говорила попадья. — Привёл Бог опять увидеться. Как поживаете? А мы-то про вас каждый день поминали. А Марья-то Ивановна всего натерпелась без вас, моя голубушка!.. Да скажите, мой отец, как это вы с Пугачёвым-то поладили? Как он это вас не укокошил? Добро, спасибо злодею и за то». — «Полно, старуха, — прервал отец Герасим. — Не всё то ври, что знаешь. Несть спасения во многом глаголании. Батюшка Пётр Андреич! войдите, милости просим. Давно, давно не видались».

Попадья стала угощать меня чем Бог послал. А между тем говорила без умолку. Она рассказала мне, каким образом Швабрин принудил их выдать ему Марью Ивановну; как Марья Ивановна плакала и не хотела с ними расстаться; как Марья

Ивановна имела с нею всегдашние сношения через Палашку (девку бойкую, которая и урядника заставляет плясать по своей дудке); как она присоветовала Марье Ивановне написать ко мне письмо, и прочее. Я, в свою очередь, рассказал ей вкратце свою историю. Поп и попадья крестились, услыша, что Пугачёву известен их обман. «С нами сила крестная! — говорила Акулина Памфиловна. — Промчи Бог тучу мимо. Ай да Алексей Иваныч; нечего сказать: хорош гусь!» В самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна вошла с улыбкою на бледном лице. Она оставила своё крестьянское платье и одета была по-прежнему просто и мило.

Я схватил её руку и долго не мог вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали от полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что нам было не до них, и оставили нас. Мы остались одни. Всё было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна рассказала мне всё, что с нею ни случилось с самого взятия крепости; описала мне весь ужас её положения, все испытания, которым подвергал её гнусный Швабрин. Мы вспомнили и прежнее счастливое время… Оба мы плакали… Наконец я стал объяснять ей мои предположения. Оставаться ей в крепости, подвластной Пугачёву

и управляемой Швабриным, было невозможно. Нельзя было думать и об Оренбурге, претерпевающем все бедствия осады. У ней не было на свете ни одного родного человека. Я предложил ей ехать в деревню к моим родителям. Она сначала колебалась: известное ей неблагорасположение отца моего её пугало. Я её успокоил. Я знал, что отец почтёт за счастие и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество. «Милая Марья Ивановна! — сказал я наконец. — Я почитаю тебя своею женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно: ничто на свете не может нас разлучить». Марья Ивановна выслушала меня просто, без притворной застенчивости, без затейливых отговорок. Она чувствовала, что судьба её соединена была с моею. Но она повторила, что не иначе будет моею женою, как с согласия моих родителей. Я ей и не противуречил. Мы поцеловались горячо, искренно — и таким образом всё было между нами решено.

Чрез час урядник принёс мне пропуск, подписанный каракульками Пугачёва, и позвал меня к нему от его имени. Я нашёл его готового пуститься в дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным

человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока ещё было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать всё, чем исполнено было моё сердце.

Мы расстались дружески. Пугачёв, увидя в толпе Акулину Памфиловну, погрозил пальцем и мигнул значительно; потом сел в кибитку, велел ехать в Берду, и когда лошади тронулись, то он ещё раз высунулся из кибитки и закричал мне: «Прощай, ваше благородие! Авось увидимся когда-нибудь». Мы точно с ним увиделись, но в каких обстоятельствах!..

Пугачёв уехал. Я долго смотрел на белую степь, по которой неслась его тройка. Народ разошёлся. Швабрин скрылся. Я воротился в дом священника. Всё было готово к нашему отъезду; я не хотел более медлить. Добро наше всё было уложено в старую комендантскую повозку. Ямщики мигом заложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься с могилами своих родителей, похороненных за церковью. Я хотел её проводить, но она просила меня оставить её одну. Через несколько

минут она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отец Герасим и жена его вышли на крыльцо. Мы сели в кибитку втроём: Марья Ивановна с Палашей и я. Савельич забрался на облучок. «Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! прощайте, Пётр Андреич, сокол наш ясный! — говорила добрая попадья. — Счастливый путь, и дай вам Бог обоим счастия!» Мы поехали. У окошка комендантского дома я увидел стоящего Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом и обратил глаза в другую сторону. Наконец мы выехали из крепостных ворот и навек оставили Белогорскую крепость.

## Глава XIII
## Арест

*Не гневайтесь, сударь: по долгу моему*
*Я должен сей же час отправить вас в тюрьму.*
*– Извольте, я готов; но я в такой надежде,*
*Что дело объяснить дозволите мне прежде.*

***Княжнин***

Соединённый так нечаянно с милой девушкою, о которой ещё утром я так мучительно беспокоился, я не верил самому себе и воображал, что всё со мною случившееся было пустое сновидение. Марья Ивановна глядела с задумчивостию то на меня, то на дорогу и, казалось, не успела ещё опомниться и прийти в себя. Мы молчали. Сердца наши были слишком утомлены. Неприметным образом часа через два очутились мы в ближайшей крепости, также подвластной Пугачёву. Здесь мы переменили лошадей. По скорости, с каковой их запрягали, по торопливой услужливо-

сти брадатого казака, поставленного Пугачёвым в коменданты, я увидел, что благодаря болтливости ямщика, нас привёзшего, меня принимали как придворного времянщика[66].

Мы отправились далее. Стало смеркаться. Мы приближались к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопрос: кто едет?– ямщик отвечал громогласно: «Государев кум со своею хозяюшкою». Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасною бранью. «Выходи, бесов кум!– сказал мне усатый вахмистр[67]. — Вот ужо тебе будет баня, и с твоею хозяюшкою!»

Я вышел из кибитки и требовал, чтоб отвели меня к их начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистр повёл меня к майору. Савельич от меня не отставал, поговаривая про себя: «Вот тебе и государев кум! Из огня да в полымя… Господи Владыко! чем это всё кончится?» Кибитка шагом поехала за нами.

Через пять минут мы пришли к домику, ярко

---

**[66] Примечания: 66**

Временщик — человек, достигший власти благодаря близости к царю или царице.

**[67] Примечания: 67**

Вахмистр — унтер-офицер в кавалерии царской армии.

освещённому. Вахмистр оставил меня при карауле и пошёл обо мне доложить. Он тотчас же воротился, объявив мне, что его высокоблагородию некогда меня принять, а что он велел отвести меня в острог, а хозяюшку к себе привести.

— Что это значит? — закричал я в бешенстве. — Да разве он с ума сошёл?

— Не могу знать, ваше благородие, — отвечал вахмистр. — Только его высокоблагородие приказал ваше благородие отвести в острог, а её благородие приказано привести к его высокоблагородию, ваше благородие!

Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк. Майор метал. Каково было моё изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в симбирском трактире!

— Возможно ли? — вскричал я. — Иван Иваныч! ты ли?

— Ба, ба, ба, Пётр Андреич! Какими судьбами? Откуда ты? Здорово, брат. Не хочешь ли поставить карточку?

— Благодарен. Прикажи-ка лучше отвести мне квартиру.

— Какую тебе квартиру? Оставайся у меня.

— Не могу: я не один.

— Ну, подавай сюда и товарища.

— Я не с товарищем; я… с дамою.

— С дамою! Где же ты её подцепил? Эге, брат! (При сих словах Зурин засвистел так выразительно, что все захохотали, а я совершенно смутился.)

— Ну, — продолжал Зурин, — так и быть. Будет тебе квартира. А жаль… Мы бы попировали по-старинному… Гей! малой! Да что ж сюда не ведут кумушку-то Пугачёва? или она упрямится? Сказать ей, чтоб она не боялась: барин-де прекрасный; ничем не обидит, да хорошенько её в шею.

— Что ты это? — сказал я Зурину. — Какая кумушка Пугачёва? Это дочь покойного капитана Миронова. Я вывез её из плена и теперь провожаю до деревни батюшкиной, где и оставлю её.

— Как! Так это о тебе мне сейчас докладывали? Помилуй! что ж это значит?

— После всё расскажу. А теперь, ради Бога, успокой бедную девушку, которую гусары твои перепугали.

Зурин тотчас распорядился. Он сам вышел на улицу извиняться перед Марьей Ивановной в невольном недоразумении и приказал вахмистру

отвести ей лучшую квартиру в городе. Я остался ночевать у него.

Мы отужинали, и, когда остались вдвоём, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием. Когда я кончил, он покачал головою и сказал: «Всё это, брат, хорошо; одно нехорошо: зачем тебя чёрт несёт жениться? Я, честный офицер, не захочу тебя обманывать: поверь же ты мне, что женитьба блажь. Ну куда тебе возиться с женою да нянчиться с ребятишками? Эй, плюнь. Послушай меня: развяжись ты с капитанскою дочкой. Дорога в Симбирск мною очищена и безопасна. Отправь её завтра ж одну к родителям твоим; а сам оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе незачем. Попадёшься опять в руки бунтовщикам, так вряд ли от них ещё раз отделаешься. Таким образом любовная дурь пройдёт сама собою, и всё будет ладно».

*Поразительно, как Зурин легко поверил Гринёву и из всего того, что тот рассказал, его возмутили не странные обстоятельства спасения и подозрительные отношения между Гринёвым и Пугачёвым, а тот факт, что Гринёв затеял жениться. Такое странное поведение Ивана Ивановича на самом деле объясняется довольно*

*легко: когда-то, проиграв ему сто рублей в симбирском трактире, Петр без всяких проволочек отдал деньги, поступив как человек чести. Это значит, что перед Зуриным он зарекомендовал себя как благородный дворянин, не способный на ложь и предательство. Именно поэтому гусар так легко верит Гринёву на слово и даже оставляет его в своем отряде. Пушкин, закольцовывая знакомство Гринёва и Зурина, ещё раз напоминает: береги честь смолоду, тогда судьба будет к тебе благосклонна.*

Хотя я не совсем был с ним согласен, однако ж чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы. Я решился последовать совету Зурина: отправить Марью Ивановну в деревню и остаться в его отряде.

Савельич явился меня раздевать, я объявил ему, чтоб на другой же день готов он был ехать в дорогу с Марьей Ивановной. Он было заупрямился: «Что ты, сударь? Как же я тебя-то покину? Кто за тобою будет ходить? Что скажут родители твои?»

Зная упрямство дядьки моего, я вознамерился убедить его лаской и искренностию. «Друг ты мой Архип Савельич! — сказал я ему. — Не откажи, будь мне благодетелем; в прислуге здесь я нуж-

даться не стану, а не буду спокоен, если Марья Ивановна поедет в дорогу без тебя. Служа ей, служишь ты и мне, потому что я твёрдо решился, как скоро обстоятельства дозволят, жениться на ней».

Тут Савельич сплеснул руками с видом изумления неописанного.

— Жениться! — повторил он. — Дитя хочет жениться! А что скажет батюшка, а матушка-то что подумает?

— Согласятся, верно согласятся, — отвечал я, — когда узнают Марью Ивановну. Я надеюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебе верят: ты будешь за нас ходатаем, не так ли?

Старик был тронут. «Ох, батюшка ты мой Пётр Андреич! — отвечал он. — Хоть раненько задумал ты жениться, да зато Марья Ивановна такая добрая барышня, что грех и пропустить оказию. Ин быть по-твоему! Провожу её, ангела Божия, и рабски буду доносить твоим родителям, что такой невесте не надобно и приданого».

Я благодарил Савельича и лёг спать в одной комнате с Зуриным. Разгорячённый и взволнованный, я разболтался. Зурин сначала со мною разговаривал охотно; но мало-помалу слова его стали реже и бессвязнее; наконец, вместо ответа

на какой-то запрос, он захрапел и присвистнул. Я замолчал и вскоре последовал его примеру.

На другой день утром пришёл я к Марье Ивановне. Я сообщил ей свои предположения. Она признала их благоразумие и тотчас со мною согласилась. Отряд Зурина должен был выступить из города в тот же день. Нечего было медлить. Я тут же расстался с Марьей Ивановной, поручив её Савельичу и дав ей письмо к моим родителям. Марья Ивановна заплакала. «Прощайте, Пётр Андреич! — сказала она тихим голосом. — Придётся ли нам увидаться или нет, Бог один это знает; но век не забуду вас; до могилы ты один останешься в моём сердце». Я ничего не мог отвечать. Люди нас окружали. Я не хотел при них предаваться чувствам, которые меня волновали. Наконец она уехала. Я возвратился к Зурину грустен и молчалив. Он хотел меня развеселить, я думал себя рассеять: мы провели день шумно и буйно и вечером выступили в поход.

Это было в конце февраля. Зима, затруднявшая военные распоряжения, проходила, и наши генералы готовились к дружному содействию. Пугачёв всё ещё стоял под Оренбургом. Между тем около его отряды соединялись и со всех сторон приближались к злодейскому гнезду. Бунтующие

деревни, при виде наших войск, приходили в повиновение; шайки разбойников везде бежали от нас, и всё предвещало скорое и благополучное окончание.

Вскоре князь Голицын под крепостию Татищевой разбил Пугачёва, рассеял его толпы, освободил Оренбург и, казалось, нанёс бунту последний и решительный удар. Зурин был в то время отряжён противу шайки мятежных башкирцев, которые рассеялись прежде, нежели мы их увидали. Весна осадила нас в татарской деревушке. Речки разлились, и дороги стали непроходимы. Мы утешались в нашем бездействии мыслью о скором прекращении скучной и мелочной войны с разбойниками и дикарями.

Но Пугачёв не был пойман. Он явился на сибирских заводах, собрал там новые шайки и опять начал злодействовать. Слух о его успехах снова распространился. Мы узнали о разорении сибирских крепостей. Вскоре весть о взятии Казани и о походе самозванца на Москву встревожила начальников войск, беспечно дремавших в надежде на бессилие презренного бунтовщика. Зурин получил повеление переправиться через Волгу.

Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило

до крайности. Мы проходили через селения, разорённые бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено: помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно… Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!

*«Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный» — итог, который подводит Пушкин, отражающий всю жестокость и обреченность восстания.*

Пугачёв бежал, преследуемый Иваном Ивановичем Михельсоном[68]. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Зурин получил известие о поимке самозванца, а вместе с тем и повеление остановиться. Война была кончена. Наконец мне можно было ехать к моим родителям! Мысль их обнять, увидеть Марью Ивановну, от которой не имел я никакого известия, одушевляла меня восторгом. Я прыгал, как ребёнок. Зурин смеялся и говорил, пожимая пле-

---

**[68] Примечания: 68**
Михельсон И. И. — один из главных усмирителей восстания.

чами: «Нет, тебе несдобровать. Женишься — ни за что пропадёшь!»

Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодее, обрызганном кровию стольких невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле. «Емеля, Емеля! — думал я с досадою, — зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать». Что прикажете делать? Мысль о нём неразлучна была во мне с мыслию о пощаде, данной мне им в одну из ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина.

Зурин дал мне отпуск. Через несколько дней должен я был опять очутиться посреди моего семейства, увидеть опять мою Марью Ивановну… Вдруг неожиданная гроза меня поразила.

В день, назначенный для выезда, в самую ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, Зурин вошёл ко мне в избу, держа в руках бумагу, с видом чрезвычайно озабоченным. Что-то кольнуло меня в сердце. Я испугался, сам не зная чего. Он выслал моего денщика и объявил, что имеет до меня дело. «Что такое?» — спросил я с беспокойством. «Маленькая неприятность, — отвечал он, подавая мне бумагу. — Прочитай, что сейчас

я получил». Я стал её читать: это был секретный приказ ко всем отдельным начальникам арестовать меня, где бы ни попался, и немедленно отправить под караулом в Казань в Следственную комиссию, учреждённую по делу Пугачёва.

Бумага чуть не выпала из моих рук. «Делать нечего! — сказал Зурин. — Долг мой повиноваться приказу. Вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачёвым как-нибудь да дошёл до правительства. Надеюсь, что дело не будет иметь никаких последствий и что ты оправдаешься перед комиссией. Не унывай и отправляйся». Совесть моя была чиста; я суда не боялся; но мысль отсрочить минуту сладкого свидания, может быть на несколько ещё месяцев, устрашала меня. Тележка была готова. Зурин дружески со мною простился. Меня посадили в тележку. Со мною сели два гусара с саблями наголо, и я поехал по большой дороге.

## Глава XIV
## Суд

*Мирская молва – Морская волна.*

***Пословица***

Я был уверен, что виною всему было самовольное моё отсутствие из Оренбурга. Я легко мог оправдаться: наездничество не только никогда не было запрещено, но ещё всеми силами было ободряемо. Я мог быть обвинён в излишней запальчивости, а не в ослушании. Но приятельские сношения мои с Пугачёвым могли быть доказаны множеством свидетелей и должны были казаться по крайней мере весьма подозрительными. Во всю дорогу размышлял я о допросах, меня ожидающих, обдумывал свои ответы и решился перед судом объявить сущую правду, полагая сей способ оправдания самым простым, а вместе и самым надёжным.

Я приехал в Казань, опустошённую и погорелую. По улицам наместо домов лежали груды углей и торчали закоптелые стены без крыш и окон. Таков был след, оставленный Пугачёвым! Меня привезли в крепость, уцелевшую посереди

сгоревшего города. Гусары сдали меня караульному офицеру. Он велел кликнуть кузнеца. Надели мне на ноги цепь и заковали её наглухо. Потом отвели меня в тюрьму и оставили одного в тесной и тёмной конурке, с одними голыми стенами и с окошечком, загороженным железною решёткою.

Таковое начало не предвещало мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, излиянной из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мною будет.

На другой день тюремный сторож меня разбудил с объявлением, что меня требуют в комиссию. Два солдата повели меня через двор в комендантский дом, остановились в передней и впустили одного во внутренние комнаты.

Я вошёл в залу довольно обширную. За столом, покрытым бумагами, сидели два человека: пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан, лет двадцати осьми, очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. У окошка за особым столом сидел секретарь с пером за ухом, наклонясь над бумагою, готовый записывать мои показания. Начался допрос. Меня спросили о моём имени и

звании. Генерал осведомился, не сын ли я Андрея Петровича Гринёва? И на ответ мой возразил сурово: «Жаль, что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына!» Я спокойно отвечал, что, каковы бы ни были обвинения, тяготеющие на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным объяснением истины. Уверенность моя ему не понравилась. «Ты, брат, востёр, — сказал он мне нахмурясь, — но видали мы и не таких!»

Тогда молодой человек спросил меня: по какому случаю и в какое время вошёл я в службу к Пугачёву и по каким поручениям был я им употреблён?

Я отвечал с негодованием, что я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачёву вступать и никаких поручений от него принять не мог.

— Каким же образом, — возразил мой допросчик, — дворянин и офицер один пощажён самозванцем, между тем как все его товарищи злодейски умерщвлены? Каким образом этот самый офицер и дворянин дружески пирует с бунтовщиками, принимает от главного злодея подарки, шубу, лошадь и полтину денег? Отчего произошла такая странная дружба и на чём она основана, если не на измене или по крайней мере на гнусном и преступном малодушии?

Я был глубоко оскорблён словами гвардейского офицера и с жаром начал своё оправдание. Я рассказал, как началось моё знакомство с Пугачёвым в степи, во время бурана; как при взятии Белогорской крепости он меня узнал и пощадил. Я сказал, что тулуп и лошадь, правда, не посовестился я принять от самозванца; но что Белогорскую крепость защищал я противу злодея до последней крайности. Наконец я сослался и на моего генерала, который мог засвидетельствовать моё усердие во время бедственной оренбургской осады.

Строгий старик взял со стола открытое письмо и стал читать его вслух:

— «На запрос вашего превосходительства касательно прапорщика Гринёва, якобы замешанного в нынешнем смятении и вошедшего в сношения с злодеем, службою недозволенные и долгу присяги противные, объяснить имею честь: оный прапорщик Гринёв находился на службе в Оренбурге от начала октября прошлого 1773 года до 24 февраля нынешнего года, в которое число он из города отлучился и с той поры уже в команду мою не являлся. А слышно от перебежчиков, что он был у Пугачёва в слободе и с ним вместе ездил в Белогорскую крепость, в коей прежде находился он на службе; что касается до его пове-

дения, то я могу…» Тут он прервал своё чтение и сказал мне сурово: «Что ты теперь скажешь себе в оправдание?»

Я хотел было продолжать, как начал, и объяснить мою связь с Марьей Ивановной так же искренно, как и всё прочее. Но вдруг почувствовал непреодолимое отвращение. Мне пришло в голову, что если назову её, то комиссия потребует её к ответу; и мысль впутать имя её между гнусными изветами[69] злодеев и её самую привести на очную с ними ставку — эта ужасная мысль так меня поразила, что я замялся и спутался.

Судьи мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с некоторою благосклонностью, были снова предубеждены противу меня при виде моего смущения. Гвардейский офицер потребовал, чтоб меня поставили на очную ставку с главным доносителем. Генерал велел кликнуть *вчерашнего злодея*. Я с живостию обратился к дверям, ожидая появления своего обвинителя. Через несколько минут загремели цепи, двери отворились, и вошёл — Швабрин. Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно чёрные как смоль, совершенно по-

**[69] Примечания: 69**
Извет — клеветнический донос, наговор.

седели; длинная борода была всклокочена. Он повторил обвинения свои слабым, но смелым голосом.

По его словам, я отряжён был от Пугачёва в Оренбург шпионом; ежедневно выезжал на перестрелки, дабы передавать письменные известия о всём, что делалось в городе; что наконец явно передался самозванцу, разъезжал с ним из крепости в крепость, стараясь всячески губить своих товарищей-изменников, дабы занимать их места и пользоваться наградами, раздаваемыми от самозванца. Я выслушал его молча и был доволен одним: имя Марьи Ивановны не было произнесено гнусным злодеем, оттого ли, что самолюбие его страдало при мысли о той, которая отвергла его с презрением; оттого ли, что в сердце его таилась искра того же чувства, которое и меня заставляло молчать, — как бы то ни было, имя дочери белогорского коменданта не было произнесено в присутствии комиссии. Я утвердился ещё более в моём намерении, и когда судьи спросили: чем могу опровергнуть показания Швабрина, я отвечал, что держусь первого своего объяснения и ничего другого в оправдание себе сказать не могу. Генерал велел нас вывести. Мы вышли вместе. Я спокойно взглянул на Швабрина, но не сказал

ему ни слова. Он усмехнулся злобной усмешкою и, приподняв свои цепи, опередил меня и ускорил свои шаги. Меня опять отвели в тюрьму и с тех пор уже к допросу не требовали.

*Гринёв как всегда слишком благороден. Очевидно, Швабрин не назвал имени Маши, потому что понимал, что ее показания оправдают Петра, а на него навлекут ещё больше бед, так что вряд ли он руководствовался «искрой того же чувства», а просто в очередной раз повел себя подло и низко.*

Я не был свидетелем всему, о чём остаётся мне уведомить читателя; но я так часто слыхал о том рассказы, что малейшие подробности врезались в мою память и что мне кажется, будто бы я тут же невидимо присутствовал.

Марья Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать Божию в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Вскоре они к ней искренно привязались, потому что нельзя было её узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшке пустою блажью; а матушка только того и желала, чтоб её Петруша женился на милой капитанской дочке.

Слух о моём аресте поразил всё моё семейство.

Марья Ивановна так просто рассказала моим родителям о странном знакомстве моём с Пугачёвым, что оно не только не беспокоило их, но ещё заставляло часто смеяться от чистого сердца. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном бунте, коего цель была ниспровержение престола и истребление дворянского рода. Он строго допросил Савельича. Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачёва и что-де злодей его таки жаловал; но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал. Старики успокоились и с нетерпением стали ждать благоприятных вестей. Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо в высшей степени была одарена скромностию и осторожностию.

Прошло несколько недель… Вдруг батюшка получает из Петербурга письмо от нашего родственника князя Б**. Князь писал ему обо мне. После обыкновенного приступа он объявил ему, что подозрения насчёт участия моего в замыслах бунтовщиков, к несчастью, оказались слишком основательными, что примерная казнь должна была бы меня постигнуть, но что государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, решилась помиловать преступного сына и,

избавляя его от позорной казни, повелела только сослать в отдалённый край Сибири на вечное поселение.

Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей твёрдости, и горесть его (обыкновенно немая) изливалась в горьких жалобах. «Как!– повторял он, выходя из себя.– Сын мой участвовал в замыслах Пугачёва! Боже праведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его от казни! От этого разве мне легче? Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести; отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущёвым[70]. Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..» Испуганная его отчаянием, матушка не смела при нём плакать и старалась возвратить ему бодрость, говоря о неверности молвы, о шаткости людского мнения. Отец мой был неутешен.

Марья Ивановна мучилась более всех. Будучи уверена, что я мог оправдаться, когда бы только

---

**[70] Примечания: 70**

Волынский А. П. — министр в правительстве Анны Иоанновны; возглавлял группу русского дворянства, которая выступала против засилья немцев при дворе. Вместе со своим ближайшим сторонником Хрущёвым А. Ф. был публично казнён в 1740 году.

захотел, она догадывалась об истине и почитала себя виновницею моего несчастия. Она скрывала от всех свои слёзы и страдания и между тем непрестанно думала о средствах, как бы меня спасти.

Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевёртывая листы Придворного календаря; но мысли его были далеко, и чтение не производило над ним обыкновенного своего действия. Он насвистывал старинный марш. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку, и слёзы изредка капали на её работу. Вдруг Марья Ивановна, тут же сидевшая за работой, объявила, что необходимость её заставляет ехать в Петербург и что она просит дать ей способ отправиться. Матушка очень огорчилась. «Зачем тебе в Петербург? — сказала она. — Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты нас покинуть?» Марья Ивановна отвечала, что вся будущая судьба её зависит от этого путешествия, что она едет искать покровительства и помощи у сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность.

Отец мой потупил голову: всякое слово, напоминающее мнимое преступление сына, было ему тягостно и казалось колким упрёком. «Поезжай, матушка! — сказал он ей со вздохом. — Мы твое-

му счастию помехи сделать не хотим. Дай Бог тебе в женихи доброго человека, не ошельмованного изменника». Он встал и вышел из комнаты.

Марья Ивановна, оставшись наедине с матушкою, отчасти объяснила ей свои предположения. Матушка со слезами обняла её и молила Бога о благополучном конце замышленного дела. Марью Ивановну снарядили, и через несколько дней она отправилась в дорогу с верной Палашей и с верным Савельичем, который, насильственно разлучённый со мною, утешался по крайней мере мыслию, что служит наречённой моей невесте.

Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию[71] и, узнав на почтовом дворе, что Двор находился в то время в Царском Селе, решилась тут остановиться. Ей отвели уголок за перегородкой. Жена смотрителя тотчас с нею разговорилась, объявила, что она племянница придворного истопника, и посвятила её во все таинства придворной жизни. Она рассказала, в котором часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофей, прогуливалась; какие вельможи находились в то время при ней; что изволила она вчерашний день говорить у себя

**[71] Примечания: 71**

София — почтовая станция и небольшой городок в двадцати двух верстах от Петербурга, близ Царского Села.

за столом, кого принимала вечером, — словом, разговор Анны Власьевны стоил нескольких страниц исторических записок и был бы драгоценен для потомства. Марья Ивановна слушала её со вниманием. Они пошли в сад. Анна Власьевна рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика, и, нагулявшись, они возвратились на станцию, очень довольные друг другом.

На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева[72]. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос: «Не бойтесь, она не укусит». И Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на ска-

**[72] Примечания: 72**

Румянцев-Задунайский П. А. — фельдмаршал, под командованием которого русская армия одержала ряд побед. В честь победоносного сражения при реке Калуге (1770) в Царском Селе воздвигнут памятник.

мейке противу памятника. Марья Ивановна села на другом конце скамейки. Дама пристально на неё смотрела; а Марья Ивановна, со своей стороны бросив несколько косвенных взглядов, успела рассмотреть её с ног до головы. Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо её, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и лёгкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая перервала молчание.

— Вы, верно, не здешние? — сказала она.

— Точно так-с: я вчера только приехала из провинции.

— Вы приехали с вашими родными?

*Сперва может показаться, что Маша уж очень везучая: только оказалась в Царском Селе и сразу же встретила императрицу. Но на самом деле если проследить за тем, как внимательно Маша слушала Анну Власьевну, становится понятно, что она все очень хорошо рассчитала: сделала необходимые выводы и пришла именно туда, где вероятнее всего можно было найти императрицу, а встретив ее, не подала виду, что, безусловно, подкупило Екатерину. В этом эпизоде Маша раскрывается по-новому: это уже не скромная сирота, чуть что падающая в обморок, а смелая,*

*уверенная в себе, обладающая твердым характером девушка, которая ради своего возлюбленного до самой императрицы дойдет, но добьется справедливости.*

— Никак нет-с. Я приехала одна.

— Одна! Но вы так ещё молоды.

— У меня нет ни отца, ни матери.

— Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам?

— Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне.

— Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?

— Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия.

— Позвольте спросить, кто вы таковы?

— Я дочь капитана Миронова.

— Капитана Миронова! того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей?

— Точно так-с.

Дама, казалось, была тронута. «Извините меня, — сказала она голосом ещё более ласковым, — если я вмешиваюсь в ваши дела; но я бываю при Дворе; изъясните мне, в чём состоит ваша просьба, может быть, мне удастся вам помочь».

Марья Ивановна встала и почтительно её

благодарила. Всё в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала её незнакомой своей покровительнице, которая стала читать её про себя.

Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным; но вдруг лицо её переменилось, — и Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми её движениями, испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному.

— Вы просите за Гринёва? — сказала дама с холодным видом. — Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй.

— Ах, неправда! — вскрикнула Марья Ивановна.

— Как неправда! — возразила дама, вся вспыхнув.

— Неправда, ей-богу, неправда! Я знаю всё, я всё вам расскажу. Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня. — Тут она с жаром рассказала всё, что уже известно моему читателю.

Дама выслушала её со вниманием. «Где вы остановились? — спросила она потом; и, услыша, что у Анны Власьевны, примолвила с улыбкою: — А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо».

С этим словом она встала и вошла в крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась к Анне Власьевне, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила её за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по её словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашкою чая только было принялась за бесконечные рассказы о Дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камер-лакей вошёл с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову.

Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ахти Господи!– закричала она.– Государыня требует вас ко Двору. Как же это она про вас узнала? Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, я чай, и ступить по-придворному не умеете… Не проводить ли мне вас? Всё-таки я вас хоть в чём-нибудь да могу предостеречь. И как же вам ехать в дорожном платье? Не послать ли к повивальной бабушке за её жёлтым робро-

ном?[73]» Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала одна и в том, в чём её застанут. Делать было нечего: Марья Ивановна села в карету и поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны.

Марья Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы; сердце её сильно билось и замирало. Чрез несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Двери перед нею отворились настежь. Она прошла длинный ряд пустых великолепных комнат; камер-лакей указывал дорогу. Наконец, подошед к запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил её одну.

Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрашала её, что она с трудом могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную государыни.

Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали её и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково к ней обратилась, и Марья Ивановна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъясня-

---

**[73] Примечания: 73**

Роброн (роброид) — нарядное женское платье с широким шлейфом.

лась она несколько минут тому назад. Государыня подозвала её и сказала с улыбкою: «Я рада, что могла сдержать вам своё слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвезти к будущему свёкру».

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакав, упала к ногам императрицы, которая подняла её и поцеловала. Государыня разговорилась с нею. «Знаю, что вы не богаты, — сказала она, — но я в долгу перед дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние».

Обласкав бедную сироту, государыня её отпустила. Марья Ивановна уехала в той же придворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая её возвращения, осыпала её вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна хотя и была недовольна её беспамятством, но приписала оное провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна, не полюбопытствовав взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню…

*Екатерина II показана как добродетельная, милосердная императрица, и напоминает скорее*

*героиню классицизма, мудрую и справедливую правительницу, какой и должна быть царица. Более того, она лукавит, когда говорит, что «в долгу перед дочерью капитана Миронова»: нет никакого долга, Иван Кузьмич выполнял свою воинскую обязанность, но обласкав его дочь, Екатерина демонстрирует великодушие власти к девушке из обычной солдатской семьи. Этим поступком императрицы Пушкин отзеркаливает отношения Пугачёва и Гринёва: «народный» царь Пугачёв проявил великодушие и щедрость по отношению к дворянину, а законная царица Екатерина поступила так же по отношению к простой девушке.*

Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринёва. Из семейственных преданий известно, что он был освобождён от заключения в конце 1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни Пугачёва, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мёртвая и окровавленная, показана была народу. Вскоре потом Пётр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. — В тридцати верстах от *** находится село, принадлежащее десятерым помещикам. В одном из барских фли-

гелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись Петра Андреевича Гринёва доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились, с разрешения родственников, издать её особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена.

*В финале Пушкин снова подчеркивает скромность Маши, не желающей оставаться в столице, пока ее жених находится под стражей. Таким образом, пушкинские герои Петр Гринёв и Мария Миронова, воспитанные в разных социальных условиях и семьях, являются образцом достойной молодежи. Они способны найти компромисс между господствующим классом помещиков и простым народом, ибо и в дворянской, и в солдатской семье родители смогли вырастить своих детей так, что честь они берегут смолоду.*

*Издатель19 окт. 1836*

# Дубровский

# Том первый
## Глава I

Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин, Кирила Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали при его имени; Кирила Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань; дом его всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения. Никто не дерзал отказываться от его приглашения или в известные дни не являться с должным почтением в село Покровское. В домашнем быту Кирила Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Несмотря на необыкновенную силу физических способностей, он раза два в неделю страдал от обжорства и каж-

дый вечер бывал навеселе. В одном из флигелей его дома жили шестнадцать горничных, занимаясь рукоделиями, свойственными их полу. Окна во флигеле были загорожены деревянною решёткою; двери запирались замками, от коих ключи хранились у Кирила Петровича. Молодые затворницы в положенные часы сходили в сад и прогуливались под надзором двух старух. От времени до времени Кирила Петрович выдавал некоторых из них замуж, и новые поступали на их место. С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно; несмотря на то, они были ему преданы: они тщеславились богатством и славою своего господина и в свою очередь позволяли себе многое в отношении к их соседам, надеясь на его сильное покровительство.

*Пушкин подчеркивает самодурство Троекурова в первом же абзаце, следуя правилам зачина типичного приключенческого или разбойничьего романа рубежа XVIII–XIX в. Это избавляет автора от излишне подробного описания всех особенностей быта, потому что современники уже и так с ним знакомы и видят либо себя, либо своих знакомых, будто в некоем зеркале, что, во-первых, делает художественные образы типическими, во-вторых, сближает героев и читателей.*

Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах и в проказах, ежедневно притом изобретаемых и жертвою коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец; хотя и старинные приятели не всегда их избегали за исключением одного Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и владел семидесятью душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского, несмотря на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе, и Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера. Обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский с расстроенным состоянием принуждён был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне. Кирила Петрович, узнав о том, предлагал ему своё покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя несколько лет Троекуров, отставной генерал-аншеф, приехал в своё поместие; они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирила Петрович, отроду не удостоивавший никого своим посещением,

заезжал запросто в домишко своего старого товарища. Будучи ровесниками, рождённые в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти и в характерах и в наклонностях. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова: оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребёнку. Сын Дубровского воспитывался в Петербурге, дочь Кирила Петровича росла в глазах родителя, и Троекуров часто говаривал Дубровскому: «Слушай, брат, Андрей Гаврилович: коли в твоём Володьке будет путь, так отдам за него Машу; даром что он гол как сокол». Андрей Гаврилович качал головою и отвечал обыкновенно: «Нет, Кирила Петрович: мой Володька не жених Марии Кириловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабёнки».

Все завидовали согласию, царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом, и удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом у Кирила Петровича прямо высказывал своё мнение, не заботясь о том, противуречило ли оно мнениям хозяина. Некоторые пытались было ему подражать и выйти из пределов должного повиновения, но Кирила Петрович

так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям, и Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай всё расстроил и переменил.

Раз в начале осени Кирила Петрович собирался в отъезжее поле. Накануне был отдан приказ псарям и стремянным быть готовыми к пяти часам утра. Палатка и кухня отправлены были вперёд на место, где Кирила Петрович должен был обедать. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более пятисот гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирила Петровича на своём собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак под присмотром штаб-лекаря Тимошки и отделение, где благородные суки ощенялись и кормили своих щенят. Кирила Петрович гордился сим прекрасным заведением и никогда не упускал случая похвастаться оным перед своими гостями, из коих каждый осматривал его по крайней мере уже в двадцатый раз. Он расхаживал по псарне, окружённый своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями; останавливался пред некоторыми конурами, то расспрашивая о здоровии больных, то делая замечания более или менее строгие и справедливые, то подзы-

вая к себе знакомых собак и ласково с ними разговаривая. Гости почитали обязанностию восхищаться псарнею Кирила Петровича. Один Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только двух гончих и одну свору борзых; он не мог удержаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заведения. «Что же ты хмуришься, брат, — спросил его Кирила Петрович, — или псарня моя тебе не нравится?» — «Нет, — отвечал он сурово, — псарня чудная, вряд людям вашим житьё такое ж, как вашим собакам». Один из псарей обиделся. «Мы на своё житьё, — сказал он, — благодаря Бога и барина не жалуемся, а что правда, то правда, иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку. Ему было б и сытнее и теплее». Кирила Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестися и к ним. Дубровский побледнел и не сказал ни слова. В сие время поднесли в лукошке Кирилу Петровичу новорождённых щенят; он занялся ими, выбрал себе двух, прочих велел утопить. Между тем Андрей Гаврилович скрылся, и никто того не заметил.

Возвратясь с гостями со псарного двора, Кирила Петрович сел ужинать и тогда только, не видя Дубровского, хватился о нём. Люди отвечали, что Андрей Гаврилович уехал домой. Троекуров велел тотчас его догнать и воротить непременно. Отроду не выезжал он на охоту без Дубровского, опытного и тонкого ценителя псовых достоинств и безошибочного решителя всевозможных охотничьих споров. Слуга, поскакавший за ним, воротился, как ещё сидели за столом, и доложил своему господину, что, дескать, Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться. Кирила Петрович, по обыкновению своему разгорячённый наливками, осердился и вторично послал того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если он тотчас же не приедет ночевать в Покровское, то он, Троекуров, с ним навеки рассорится. Слуга снова поскакал, Кирила Петрович, встав из-за стола, отпустил гостей и отправился спать.

На другой день первый вопрос его был: здесь ли Андрей Гаврилович? Вместо ответа ему подали письмо, сложенное треугольником; Кирила Петрович приказал своему писарю читать его вслух и услышал следующее:

«Государь мой премилостивый,

Я до тех пор не намерен ехать в Покровское,

пока не вышлете Вы мне псаря Парамошку с повинною; а будет моя воля наказать его или помиловать, а я терпеть шутки от Ваших холопьев не намерен, да и от Вас их не стерплю — потому что я не шут, а старинный дворянин. — За сим остаюсь покорным ко услугам

*Андрей Дубровский».*

По нынешним понятиям об этикете письмо сие было бы весьма неприличным, но оно рассердило Кирила Петровича не странным слогом и расположением, но только своею сущностью. «Как, — загремел Троекуров, вскочив с постели босой, — высылать к ему моих людей с повинной, он волен их миловать, наказывать! — да что он в самом деле задумал; да знает ли он, с кем связывается? Вот я ж его… Наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова!»

Кирила Петрович оделся и выехал на охоту с обыкновенной своею пышностию, — но охота не удалась. Во весь день видели одного только зайца, и того протравили. Обед в поле под палаткою также не удался или по крайней мере был не по вкусу Кирила Петровича, который прибил повара, разбранил гостей и на возвратном пути со всею своей охотою нарочно поехал полями Дубровского.

Прошло несколько дней, и вражда между двумя соседями не унималась. Андрей Гаврилович не возвращался в Покровское, Кирила Петрович без него скучал, и досада его громко изливалась в самых оскорбительных выражениях, которые благодаря усердию тамошних дворян доходили до Дубровского исправленные и дополненные. Новое обстоятельство уничтожило и последнюю надежду на примирение.

Дубровский объезжал однажды малое своё владение; приближаясь к берёзовой роще, услышал он удары топора и через минуту треск повалившегося дерева. Он поспешил в рощу и наехал на покровских мужиков, спокойно ворующих у него лес. Увидя его, они бросились было бежать. Дубровский со своим кучером поймал из них двоих и привёл их связанных к себе на двор. Три неприятельские лошади достались тут же в добычу победителю. Дубровский был отменно сердит: прежде сего никогда люди Троекурова, известные разбойники, не осмеливались шалить в пределах его владений, зная приятельскую связь его с их господином. Дубровский видел, что теперь пользовались они происшедшим разрывом, и решился, вопреки всем понятиям о праве войны, проучить своих пленников прутьями,

коими запаслись они в его же роще, а лошадей отдать в работу, приписав к барскому скоту.

Слух о сем происшествии в тот же день дошёл до Кирила Петровича. Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистенёвку (так называлась деревня его соседа), разорить её дотла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковые подвиги были ему не в диковину. Но мысли его вскоре приняли другое направление.

Расхаживая тяжёлыми шагами взад и вперёд по зале, он взглянул нечаянно в окно и увидел у ворот остановившуюся тройку; маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинели вышел из телеги и пошёл во флигель к приказчику; Троекуров узнал заседателя Шабашкина и велел его позвать. Через минуту Шабашкин уже стоял перед Кирилом Петровичем, отвешивая поклон за поклоном и с благоговением ожидая его приказаний.

— Здорово, как бишь тебя зовут, — сказал ему Троекуров, — зачем пожаловал?

— Я ехал в город, ваше превосходительство, — отвечал Шабашкин, — и зашёл к Ивану Демьянову узнать, не будет ли какого приказания от вашего превосходительства.

— Очень кстати заехал, как бишь тебя зовут; мне до тебя нужда. Выпей водки да выслушай.

Таковой ласковый приём приятно изумил заседателя. Он отказался от водки и стал слушать Кирила Петровича со всевозможным вниманием.

— У меня сосед есть, — сказал Троекуров, — мелкопоместный грубиян; я хочу взять у него имение — как ты про то думаешь?

— Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы или…

— Врёшь, братец, какие тебе документы. На то указы. В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение. Постой однако ж. Это имение принадлежало некогда нам, было куплено у какого-то Спицына и продано потом отцу Дубровского. Нельзя ли к этому придраться?

— Мудрено, ваше высокопревосходительство; вероятно, сия продажа совершена законным порядком.

— Подумай, братец, поищи хорошенько.

— Если бы, например, ваше превосходительство могли каким ни есть образом достать от вашего соседа запись или купчую, в силу которой владеет он своим имением, то, конечно…

— Понимаю, да вот беда — у него все бумаги

сгорели во время пожара.

— Как, ваше превосходительство, бумаги его сгорели! чего ж вам лучше? — в таком случае извольте действовать по законам, и без всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие.

— Ты думаешь? Ну, смотри же. Я полагаюсь на твоё усердие, а в благодарности моей можешь быть уверен.

*Пушкин поднимает важную для своего времени проблему: существует ли равноправие даже в рамках одного социального слоя (помещиков) или же все зависит от финансового достатка. Завязка романа подсказывает неутешительный вывод: продажные стряпчие, судьи и прочие чиновники готовы выполнить любой каприз, найти любую лазейку в законодательстве за деньги заказчика, и никакая совесть, никакая дворянская честь, которой так любит кичиться высшее общество, никого не останавливает.*

Шабашкин поклонился почти до земли, вышел вон, с того же дни стал хлопотать по замышленному делу, и благодаря его проворству ровно через две недели Дубровский получил из города приглашение доставить немедленно надлежащие объяснения насчёт его владения сельцом

Кистенёвкою.

Андрей Гаврилович, изумлённый неожиданным запросом, в тот же день написал в ответ довольно грубое отношение, в коем объявлял он, что сельцо Кистенёвка досталось ему по смерти покойного его родителя, что он владеет им по праву наследства, что Троекурову до него дела никакого нет и что всякое постороннее притязание на сию его собственность есть ябеда и мошенничество.

Письмо сие произвело весьма приятное впечатление в душе заседателя Шабашкина. Он увидел, вопервых, что Дубровский мало знает толку в делах, во-вторых, что человека столь горячего и неосмотрительного нетрудно будет поставить в самое невыгодное положение.

Андрей Гаврилович, рассмотрев хладнокровно запросы заседателя, увидел необходимость отвечать обстоятельнее. Он написал довольно дельную бумагу, но в последствии времени оказавшуюся недостаточной.

Дело стало тянуться. Уверенный в своей правоте, Андрей Гаврилович мало о нём беспокоился, не имел ни охоты, ни возможности сыпать около себя деньги, и хоть он, бывало, всегда первый трунил над продажной совестью чернильного

племени, но мысль соделаться жертвой ябеды не приходила ему в голову. С своей стороны Троекуров столь же мало заботился о выигрыше им затеянного дела, Шабашкин за него хлопотал, действуя от его имени, стращая и подкупая судей и толкуя вкривь и впрямь всевозможные указы. Как бы то ни было, 18… года, февраля 9 дня, Дубровский получил через городовую полицию приглашение явиться к ** земскому судье для выслушания решения оного по делу спорного имения между им, поручиком Дубровским, и генерал-аншефом Троекуровым, и для подписки своего удовольствия или неудовольствия. В тот же день Дубровский отправился в город; на дороге обогнал его Троекуров. Они гордо взглянули друг на друга, и Дубровский заметил злобную улыбку на лице своего противника.

## Глава II

Приехав в город, Андрей Гаврилович остановился у знакомого купца, ночевал у него и на другой день утром явился в присутствие уездного суда. Никто не обратил на него внимания. Вслед за ним приехал и Кирила Петрович. Писаря встали и заложили перья за ухо. Члены встретили

его с изъявлениями глубокого подобострастия, придвинули ему кресла из уважения к его чину, летам и дородности; он сел при открытых дверях, — Андрей Гаврилович стоя прислонился к стенке, — настала глубокая тишина, и секретарь звонким голосом стал читать определение суда.

Мы помещаем его вполне, полагая, что всякому приятно будет увидать один из способов, коими на Руси можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримое право.

18… года октября 27 дня** уездный суд рассматривал дело о неправильном владении гвардии поручиком Андреем Гавриловым сыном Дубровским имением, принадлежащим генерал-аншефу Кирилу Петрову сыну Троекурову, состоящим ** губернии в сельце Кистенёвке, мужеска пола ** душами, да земли с лугами и угодьями ** десятин. Из коего дела видно: означенный генерал-аншеф Троекуров прошлого 18… года июня 9 дня взошёл в сей суд с прошением в том, что покойный его отец, коллежский асессор и кавалер Пётр Ефимов сын Троекуров в 17… году августа 14 дня, служивший в то время в ** наместническом правлении провинциальным секретарём, купил из дворян у канцеляриста Фадея Егорова сына Спицына имение, состоящее ** округи в помянутом сельце

Кистенёвке (которое селение тогда по ** ревизии называлось Кистенёвскими выселками), всего значащихся по 4-й ревизии мужеска пола ** душ со всем их крестьянским имуществом, усадьбою, с пашенною и непашенною землёю, лесами, сенными покосы, рыбными ловли по речке, называемой Кистенёвке, и со всеми принадлежащими к оному имению угодьями и господским деревянным домом, и словом всё без остатка, что ему после отца его, из дворян урядника Егора Терентьева сына Спицына по наследству досталось и во владении его было, не оставляя из людей ни единыя души, а из земли ни единого четверика, ценою за 2500 р., на что и купчая в тот же день в ** палате суда и расправы совершена, и отец его тогда же августа в 26-й день ** земским судом введён был во владение и учинён за него отказ. — А наконец 17… года сентября 6-го дня отец его волею Божиею помер, а между тем он проситель генерал-аншеф Троекуров с 17… года почти с малолетства находился в военной службе и по большой части был в походах за границами, почему он и не мог иметь сведения, как о смерти отца его, равно и об оставшемся после его имении. Ныне же по выходе совсем из той службы в отставку и по возвращении в имения отца его,

состоящие ** и ** губерниях **,** и ** уездах, в разных селениях, всего до 3000 душ, находит, что из числа таковых имений вышеписанными ** душами (коих по нынешней ** ревизии значится в том сельце всего ** душ) с землёю и со всеми угодьями владеет без всяких укреплений вышеписанный гвардии поручик Андрей Дубровский, почему, представляя при оном прошении ту подлинную купчую, данную отцу его продавцом Спицыным, просит, отобрав помянутое имение из неправильного владения Дубровского, отдать по принадлежности в полное его, Троекурова, распоряжение. А за несправедливое оного присвоение, с коего он пользовался получаемыми доходами, по учинении об оных надлежащего дознания, положить с него, Дубровского, следующее по законам взыскание и оным его, Троекурова, удовлетворить.

По учинении ж ** земским судом по сему прошению исследований открылось: что помянутый нынешний владелец спорного имения гвардии поручик Дубровский дал на месте дворянскому заседателю объяснение, что владеемое им ныне имение, состоящее в означенном сельце Кистенёвке, ** душ с землёю и угодьями, досталось ему по наследству после смерти отца его, артиллерии

подпоручика Гаврила Евграфова сына Дубровского, а ему дошедшее по покупке от отца сего просителя, прежде бывшего провинциального секретаря, а потом коллежского асессора Троекурова, по доверенности, данной от него в 17… году августа 30 дня, засвидетельствованной в ** уездном суде, титулярному советнику Григорью Васильеву сыну Соболеву, по которой должна быть от него на имение сие отцу его купчая, потому что во оной именно сказано, что он, Троекуров, всё доставшееся ему по купчей от канцеляриста Спицына имение, ** душ с землёю, продал отцу его, Дубровскому, и следующие по договору деньги, 3200 рублей, всё сполна с отца его без возврата получил и просил оного доверенного Соболева выдать отцу его указную крепость. А между тем отцу его в той же доверенности по случаю заплаты всей суммы владеть тем покупным у него имением и распоряжаться впредь до совершения оной крепости, как настоящему владельцу, и ему, продавцу Троекурову, впредь и никому в то имение уже не вступаться. Но когда именно и в каком присутственном месте таковая купчая от поверенного Соболева дана его отцу, — ему, Андрею Дубровскому, неизвестно, ибо он в то время был в совершенном малолетстве, и после смерти

его отца таковой крепости отыскать не мог, а полагает, что не сгорела ли с прочими бумагами и имением во время бывшего в 17… году в доме их пожара, о чём известно было и жителям того селения. А что оным имением со дня продажи Троекуровым или выдачи Соболеву доверенности, то есть с 17… года, а по смерти отца его с 17… года и поныне, они, Дубровские, бесспорно владели, в том свидетельствуется на окольных жителей, которые, всего 52 человека, на опрос под присягой показали, что действительно, как они могут запомнить, означенным спорным имением начали владеть помянутые гг. Дубровские назад сему лет с 70 без всякого от кого-либо спора, но по какому именно акту или крепости, им неизвестно. — Упомянутый же по сему делу прежний покупчик сего имения, бывший провинциальный секретарь Пётр Троекуров, владел ли сим имением, они не запомнят. Дом же гг. Дубровских назад сему лет 30 от случившегося в их селении в ночное время пожара сгорел, причём сторонние люди допускали, что доходу означенное спорное имение может приносить, полагая с того времени в сложности, ежегодно не менее как до 2000 р.

Напротив же сего генерал-аншеф Кирила Петров сын Троекуров 3-го генваря сего года взошёл

в сей суд с прошением, что хотя помянутый гвардии поручик Андрей Дубровский и представил при учинённом следствии к делу сему выданную покойным его отцом Гаврилом Дубровским титулярному советнику Соболеву доверенность на запроданное ему имение, но по оной не только подлинной купчей, но даже и на совершение когда-либо оной никаких ясных доказательств по силе генерального регламента 19 главы и указа 1752 года ноября 29 дня не представил. Следовательно, самая доверенность ныне, за смертию самого дателя оной, отца его, по указу 1818 года маия… дня, совершенно уничтожается. — А сверх сего — велено спорные имения отдавать во владения — крепостные по крепостям, а некрепостные по розыску.

На каковое имение, принадлежащее отцу его, представлен уже от него в доказательство крепостной акт, по которому и следует, на основании означенных узаконений, из неправильного владения помянутого Дубровского отобрав, отдать ему по праву наследства. А как означенные помещики, имея во владении не принадлежащего им имения и без всякого укрепления, и пользовались с оного неправильно и им не принадлежащими доходами, то по исчислении, сколько таковых

будет причитаться по силе… взыскать с помещика Дубровского и его, Троекурова, оными удовлетворить.– По рассмотрении какового дела и учиненной из оного и из законов выписки в ** уездном суде *определено*:

Как из дела сего видно, что генерал-аншеф Кирила Петров сын Троекуров на означенное спорное имение, находящееся ныне во владении у гвардии поручика Андрея Гаврилова сына Дубровского, состоящее в сельце Кистенёвке, по нынешней… ревизии всего мужеска пола ** душ, с землёю и угодьями, представил подлинную купчую на продажу оного покойному отцу его, провинциальному секретарю, который потом был коллежским асессором, в 17… году из дворян канцеляристом Фадеем Спицыным, и что сверх сего сей покупщик, Троекуров, как из учинённой на той купчей надписи видно, был в том же году ** земским судом введён во владение, которое имение уже и за него отказано, и хотя напротив сего со стороны гвардии поручика Андрея Дубровского и представлена доверенность, данная тем умершим покупщиком Троекуровым титулярному советнику Соболеву для совершения купчей на имя отца его, Дубровского, но по таковым сделкам не только утверждать крепостные недвижимые

имения, но даже и временно владеть по указу…. воспрещено, к тому же и самая доверенность смертию дателя оной совершенно уничтожается. — Но чтоб сверх сего действительно была по оной доверенности совершена где и когда на означенное спорное имение купчая, со стороны Дубровского никаких ясных доказательств к делу с начала производства, то есть с 18… года, и по сие время не представлено. А потому сей суд и полагает: означенное имение, ** душ, с землёю и угодьями, в каком ныне положении тое окажется, утвердить по представленной на оное купчей за генерал-аншефа Троекурова; о удалении от распоряжения оным гвардии поручика Дубровского и о надлежащем вводе во владение за него, г. Троекурова, и об отказе за него, как дошедшего ему по наследству, предписать ** земскому суду. — А хотя сверх сего генерал-аншеф Троекуров и просит о взыскании с гвардии поручика Дубровского за неправое владение наследственным его имением воспользовавшихся с оного доходов. — Но как оное имение, по показанию старожилых людей, было у гг. Дубровских несколько лет в бесспорном владении, и из дела сего не видно, чтоб со стороны г. Троекурова были какие-либо до сего времени прошения о таковом непра-

вильном владении Дубровскими оного имения, к тому по уложению велено, ежели кто чужую землю засеет или усадьбу загородит, и на того о неправильном завладении станут бити челом, и про то сыщется допрямо, тогда правому отдавать тую землю и с посеянным хлебом, и городьбою, и строением, а посему генерал-аншефу Троекурову в изъявленном на гвардии поручика Дубровского иске отказать, ибо принадлежащее ему имение возвращается в его владение, не изъемля из оного ничего. А что при вводе за него оказаться может всё без остатка, предоставя между тем генерал-аншефу Троекурову, буде он имеет о таковой своей претензии какие-либо ясные и законные доказательства, может просить где следует особо. — Каковое решение напред объявить как истцу, равно и ответчику, на законном основании, апелляционным порядком, коих и вызвать в сей суд для выслушания сего решения и подписки удовольствия или неудовольствия чрез полицию.

Каковое решение подписали все присутствующие того суда.

Секретарь умолкнул, заседатель встал и с низким поклоном обратился к Троекурову, приглашая его подписать предлагаемую бумагу, и

торжествующий Троекуров, взяв от него перо, подписал под *решением* суда совершенное своё удовольствие.

Очередь была за Дубровским. Секретарь поднёс ему бумагу. Но Дубровский стал неподвижен, потупя голову.

*Прочитать полностью решение суда практически невозможно, таким запутанным, искусственным языком оно составлено. Естественно, Пушкин намеренно вставляет такой большой кусок сложного для восприятия текста. Тем самым автор показывает, как можно заставить человека смутиться и растеряться, запутав его канцеляритом и значительной интонацией при прочтении, что любые махинации становятся возможны.*

Секретарь повторил ему своё приглашение подписать своё полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие, если паче чаяния чувствует по совести, что дело его есть правое, и намерен в положенное законами время просить по апелляции куда следует. Дубровский молчал… Вдруг он поднял голову, глаза его засверкали, он топнул ногою, оттолкнул секретаря с такою силою, что тот упал, и, схватив чернильницу, пустил ею в заседателя. Все пришли в ужас. «Как! не

почитать церковь Божию! прочь, хамово племя!» Потом, обратясь к Кирилу Петровичу: «Слыхано дело, ваше превосходительство, — продолжал он, — псари вводят собак в Божию церковь! собаки бегают по церкви. Я вас ужо проучу…» Сторожа сбежались на шум и насилу им овладели. Его вывели и усадили в сани. Троекуров вышел вслед за ним, сопровождаемый всем судом. Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало на его воображение и отравило его торжество.

Судьи, надеявшиеся на его благодарность, не удостоились получить от него ни единого приветливого слова. Он в тот же день отправился в Покровское. Дубровский между тем лежал в постеле; уездный лекарь, по счастию не совершенный невежда, успел пустить ему кровь, приставить пиявки и шпанские мухи. К вечеру ему стало легче, больной пришёл в память. На другой день повезли его в Кистенёвку, почти уже ему не принадлежащую.

## Глава III

Прошло несколько времени, а здоровье бедного Дубровского всё ещё было плохо; правда, припадки сумасшествия уже не возобновлялись, но

силы его приметно ослабевали. Он забывал свои прежние занятия, редко выходил из своей комнаты и задумывался по целым суткам. Егоровна, добрая старуха, некогда ходившая за его сыном, теперь сделалась и его нянькою. Она смотрела за ним, как за ребёнком, напоминала ему о времени пищи и сна, кормила его, укладывала спать. Андрей Гаврилович тихо повиновался ей и кроме её не имел ни с кем сношения. Он был не в состоянии думать о своих делах, хозяйственных распоряжениях, и Егоровна увидела необходимость уведомить обо всём молодого Дубровского, служившего в одном из гвардейских пехотных полков и находящегося в то время в Петербурге. Итак, отодрав лист от расходной книги, она продиктовала повару Харитону, единственному кистенёвскому грамотею, письмо, которое в тот же день и отослала в город на почту.

Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести.

Владимир Дубровский воспитывался в Кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели должен был ожидать. Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе

роскошные прихоти; играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости.

*Долги и надежда на выгодную женитьбу в описании главного героя романа звучат не очень благородно, но эти черты отличают пушкинского Дубровского от романтического героя и больше склоняют к герою реалистическому, даже можно сказать типическому: он типичный светский молодой человек, которому принято иметь долги и надеяться на фортуну.*

Однажды вечером, когда несколько офицеров сидели у него, развалившись по диванам и куря из его янтарей, Гриша, его камердинер, подал ему письмо, коего надпись и печать тотчас поразили молодого человека. Он поспешно его распечатал и прочёл следующее:

«Государь ты наш, Владимир Андреевич, — я, твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровье папенькином! Он очень плох, иногда заговаривается и весь день сидит как дитя глупое, а в животе и смерти Бог волен. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышлем на Песочное. Слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начал Кирилу Петровичу Троеку-

рову, потому что мы, дескать, ихние, а мы искони ваши, — и отроду того не слыхивали. — Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду. — Остаюсь твоя верная раба, нянька

*Орина Егоровна Бузырева.*

Посылаю моё материнское благословение Грише, хорошо ли он тебе служит? У нас дожди идут вот ужо друга неделя и пастух Родя помер около Миколина дня».

Владимир Дубровский несколько раз сряду перечитал сии довольно бестолковые строки с необыкновенным волнением. Он лишился матери с малолетства и, почти не зная отца своего, был привезён в Петербург на восьмом году своего возраста; со всем тем он романически был к нему привязан и тем более любил семейственную жизнь, чем менее успел насладиться её тихими радостями.

Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце, а положение бедного больного, которое угадывал он из письма своей няни, ужасало его. Он воображал отца, оставленного в глухой деревне, на руках глупой старухи и дворни, угрожаемого каким-то бедствием и угасающего без помощи в мучениях телесных и душевных. Вла-

димир упрекал себя в преступном небрежении. Долго не получал он от отца писем и не подумал о нём осведомиться, полагая его в разъездах или хозяйственных заботах.

Он решился к нему ехать и даже выйти в отставку, если болезненное состояние отца потребует его присутствия. Товарищи, заметя его беспокойство, ушли. Владимир, оставшись один, написал просьбу об отпуске, закурил трубку и погрузился в глубокие размышления.

Тот же день стал он хлопотать об отпуске и через три дня был уж на большой дороге.

Владимир Андреевич приближался к той станции, с которой должен он был своротить на Кистенёвку. Сердце его исполнено было печальных предчувствий, он боялся уже не застать отца в живых, он воображал грустный образ жизни, ожидающий его в деревне, глушь, безлюдие, бедность и хлопоты по делам, в коих он не знал никакого толку. Приехав на станцию, он вошёл к смотрителю и спросил вольных лошадей. Смотритель осведомился, куда надобно было ему ехать, и объявил, что лошади, присланные из Кистенёвки, ожидали его уже четвёртые сутки. Вскоре явился к Владимиру Андреевичу старый кучер Антон, некогда водивший его по конюшне

и смотревший за его маленькой лошадкою. Антон прослезился, увидя его, поклонился ему до земи, сказал ему, что старый его барин ещё жив, и побежал запрягать лошадей. Владимир Андреевич отказался от предлагаемого завтрака и спешил отправиться. Антон повёз его просёлочными дорогами, и между ими завязался разговор.

— Скажи, пожалуйста, Антон, какое дело у отца моего с Троекуровым?

— А Бог их ведает, батюшка Владимир Андреевич… Барин, слышь, не поладил с Кирилом Петровичем, а тот и подал в суд, хотя почасту он сам себе судия. Не наше холопье дело разбирать барские воли, а, ей-богу, напрасно батюшка ваш пошёл на Кирила Петровича, плетью обуха не перешибёшь.

— Так, видно, этот Кирила Петрович у вас делает что хочет?

— И вестимо, барин: заседателя, слышь, он и в грош не ставит, исправник у него на посылках. Господа съезжаются к нему на поклон, и то сказать, было бы корыто, а свиньи-то будут.

— Правда ли, что отымает он у нас имение?

— Ох, барин, слышали так и мы. На днях покровский пономарь сказал на крестинах у нашего старосты: полно вам гулять; вот ужо приберёт

вас к рукам Кирила Петрович. Микита-кузнец и сказал ему: и полно, Савельич, не печаль кума, не мути гостей. Кирила Петрович сам по себе, а Андрей Гаврилович сам по себе, а все мы Божьи да государевы; да ведь на чужой рот пуговицы не нашьёшь.

— Стало быть, вы не желаете перейти во владение Троекурову?

— Во владение Кирилу Петровичу! Господь упаси и избави: у него часом и своим плохо приходится, а достанутся чужие, так он с них не только шкурку, да и мясо-то отдерёт. Нет, дай Бог долго здравствовать Андрею Гавриловичу, а коли уж Бог его приберёт, так не надо нам никого, кроме тебя, наш кормилец. Не выдавай ты нас, а мы уж за тебя станем. — При сих словах Антон размахнул кнутом, тряхнул вожжами, и лошади его побежали крупной рысью.

*Тема отношений барина и крестьянина показана здесь открыто, хоть пока ещё не так остро, как впоследствии будет освещена в «Капитанской дочке». Пушкин, уже отошедший от романтических представлений угнетенного народа, вечно жаждущего свержения власть имущих и стремящихся к свободе, теперь приходит к более реалистическому изображению крестьянства:*

*нет барина без холопа, нет холопа без барина. Крепостные привязаны к своей земле и к хозяину, особенно если он лоялен и в меру требователен, перемены они воспринимают в штыки, не желая расставаться с привычным для них укладом, а за родного барина готовы и в огонь, и в воду, и в лес заниматься разбоем.*

Тронутый преданностию старого кучера, Дубровский замолчал и предался снова размышлениям. Прошло более часа, вдруг Гриша пробудил его восклицанием: «Вот Покровское!» Дубровский поднял голову. Он ехал берегом широкого озера, из которого вытекала речка и вдали извивалась между холмами; на одном из них над густою зеленью рощи возвышалась зелёная кровля и бельведер огромного каменного дома, на другом пятиглавая церковь и старинная колокольня; около разбросаны были деревенские избы с их огородами и колодезями. Дубровский узнал сии места; он вспомнил, что на сём самом холму играл он с маленькой Машей Троекуровой, которая была двумя годами его моложе и тогда уже обещала быть красавицей. Он хотел об ней осведомиться у Антона, но какая-то застенчивость удержала его.

Подъехав к господскому дому, он увидел белое

платье, мелькающее между деревьями сада. В это время Антон ударил по лошадям и, повинуясь честолюбию, общему и деревенским кучерам, как и извозчикам, пустился во весь дух через мост и мимо села. Выехав из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел берёзовую рощу и влево на открытом месте серенький домик с красной кровлею; сердце в нём забилось; перед собою видел он Кистенёвку и бедный дом своего отца.

Через десять минут въехал он на барский двор. Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным. Двенадцать лет не видал он своей родины. Берёзки, которые при нём только что были посажены около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор, некогда украшенный тремя правильными цветниками, меж коими шла широкая дорога, тщательно выметаемая, обращён был в некошеный луг, на котором паслась опутанная лошадь. Собаки было залаяли, но, узнав Антона, умолкли и замахали косматыми хвостами. Дворня высыпала из людских изоб и окружила молодого барина с шумными изъявлениями радости. Насилу мог он продраться сквозь их усердную толпу и взбежал на ветхое крыльцо; в сенях встретила его Егоровна и с плачем обняла своего воспитанника.

«Здорово, здорово, няня, — повторял он, прижимая к сердцу добрую старуху, — что батюшка, где он? каков он?»

В эту минуту в залу вошёл, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в халате и колпаке.

— Здравствуй, Володька! — сказал он слабым голосом, и Владимир с жаром обнял отца своего. Радость произвела в больном слишком сильное потрясение, он ослабел, ноги под ним подкосились, и он бы упал, если бы сын не поддержал его.

— Зачем ты встал с постели, — говорила ему Егоровна, — на ногах не стоишь, а туда же норовишь, куда и люди.

Старика отнесли в спальню. Он силился с ним разговаривать, но мысли мешались в его голове, и слова не имели никакой связи. Он замолчал и впал в усыпление. Владимир поражён был его состоянием. Он расположился в его спальне и просил оставить его наедине с отцом. Домашние повиновались, и тогда все обратились к Грише и повели в людскую, где и угостили его по-деревенскому, со всевозможным радушием, измучив его вопросами и приветствиями.

## Глава IV

*Где стол был яств, там гроб стоит.*

Несколько дней спустя после своего приезда молодой Дубровский хотел заняться делами, но отец его был не в состоянии дать ему нужные объяснения; у Андрея Гавриловича не было поверенного. Разбирая его бумаги, нашёл он только первое письмо заседателя и черновой ответ на оное; из того не мог он получить ясное понятие о тяжбе и решился ожидать последствий, надеясь на правоту самого дела.

Между тем здоровье Андрея Гавриловича час от часу становилось хуже. Владимир предвидел его скорое разрушение и не отходил от старика, впадшего в совершенное детство.

Между тем положенный срок прошёл, и апелляция не была подана. Кистенёвка принадлежала Троекурову. Шабашкин явился к нему с поклонами и поздравлениями и просьбою назначить, когда угодно будет его высокопревосходительству вступить во владение новоприобретённым имением — самому или кому изволит он дать на то доверенность. Кирила Петрович смутился.

От природы не был он корыстолюбив, желание мести завлекло его слишком далеко, совесть его роптала. Он знал, в каком состоянии находился его противник, старый товарищ его молодости, и победа не радовала его сердце. Он грозно взглянул на Шабашкина, ища к чему привязаться, чтоб его выбранить, но, не нашед достаточного к тому предлога, сказал ему сердито: «Пошёл вон, не до тебя».

Шабашкин, увидя, что он не в духе, поклонился и спешил удалиться. А Кирила Петрович, оставшись наедине, стал расхаживать взад и вперёд, насвистывая: «Гром победы раздавайся», что всегда означало в нём необыкновенное волнение мыслей.

*«Гром победы, раздавайся!» — неофициальный русский национальный гимн конца XVIII — начала XIX в., написанный на слова Г. Р. Державина. Исполнение именно этой композиции подчеркивает в Кириле Петровиче устаревшие, косные взгляды.*

Наконец он велел запрячь себе беговые дрожки, оделся потеплее (это было уже в конце сентября) и, сам правя, выехал со двора.

Вскоре завидел он домик Андрея Гавриловича, и противуположные чувства наполнили душу его. Удовлетворённое мщение и властолюбие

заглушали до некоторой степени чувства более благородные, но последние наконец восторжествовали. Он решился помириться с старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его достояние. Облегчив душу сим благим намерением, Кирила Петрович пустился рысью к усадьбе своего соседа и въехал прямо на двор.

В это время больной сидел в спальной у окна. Он узнал Кирила Петровича, и ужасное смятение изобразилось на лице его: багровый румянец заступил место обыкновенной бледности, глаза засверкали, он произносил невнятные звуки. Сын его, сидевший тут же за хозяйственными книгами, поднял голову и поражён был его состоянием. Больной указывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева. Он торопливо подбирал полы своего халата, собираясь встать с кресел, приподнялся… и вдруг упал. Сын бросился к нему, старик лежал без чувств и без дыхания, паралич его ударил.

— Скорей, скорей в город за лекарем! — кричал Владимир.

— Кирила Петрович спрашивает вас, — сказал вошедший слуга.

Владимир бросил на него ужасный взгляд.

— Скажи Кирилу Петровичу, чтоб он скорее

убирался, пока я не велел его выгнать со двора… пошёл!

Слуга радостно побежал исполнить приказание своего барина; Егоровна всплеснула руками.

— Батюшка ты наш, — сказала она пискливым голосом, — погубишь ты свою головушку! Кирила Петрович съест нас.

— Молчи, няня, — сказал с сердцем Владимир, — сейчас пошли Антона в город за лекарем. — Егоровна вышла.

В передней никого не было, все люди сбежались на двор смотреть на Кирила Петровича. Она вышла на крыльцо и услышала ответ слуги, доносящего от имени молодого барина. Кирила Петрович выслушал его, сидя на дрожках. Лицо его стало мрачнее ночи, он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом около двора. Он взглянул и в окошко, где за минуту перед сим сидел Андрей Гаврилович, но где уж его не было. Няня стояла на крыльце, забыв о приказании барина. Дворня с шумом толковала о сём происшествии. Вдруг Владимир явился между людьми и отрывисто сказал:

— Не надобно лекаря, батюшка скончался.

Сделалось смятение. Люди бросились в комнату старого барина. Он лежал в креслах, на которые

перенёс его Владимир; правая рука его висела до полу, голова опущена была на грудь, не было уж и признака жизни в сём теле, ещё не охладелом, но уже обезображенном кончиною. Егоровна взвыла, слуги окружили труп, оставленный на их попечение, вымыли его, одели в мундир, сшитый ещё в 1797 году, и положили на тот самый стол, за которым столько лет они служили своему господину.

## Глава V

Похороны совершились на третий день. Тело бедного старика лежало на столе, покрытое саваном и окружённое свечами. Столовая полна была дворовых. Готовились к выносу. Владимир и трое слуг подняли гроб. Священник пошёл вперёд, дьячок сопровождал его, воспевая погребальные молитвы. Хозяин Кистенёвки в последний раз перешёл за порог своего дома. Гроб понесли рощею. Церковь находилась за нею. День был ясный и холодный. Осенние листья падали с дерев.

При выходе из рощи увидели кистенёвскую деревянную церковь и кладбище, осенённое старыми липами. Там покоилось тело Владимировой матери; там подле могилы её накануне

вырыта была свежая яма.

Церковь полна была кистенёвскими крестьянами, пришедшими отдать последнее поклонение господину своему. Молодой Дубровский стал у клироса; он не плакал и не молился, но лицо его было страшно. Печальный обряд кончился. Владимир первый пошёл прощаться с телом, за ним и все дворовые. Принесли крышку и заколотили гроб. Бабы громко выли; мужики изредка утирали слёзы кулаком. Владимир и тех же трое слуг понесли его на кладбище в сопровождении всей деревни. Гроб опустили в могилу, все присутствующие бросили в неё по горсти песку, яму засыпали, поклонились ей и разошлись. Владимир поспешно удалился, всех опередил и скрылся в Кистенёвскую рощу.

Егоровна от имени его пригласила попа и весь причет церковный на похоронный обед, объявив, что молодой барин не намерен на оном присутствовать, и таким образом отец Антон, попадья Федотовна и дьячок пешком отправились на барский двор, рассуждая с Егоровной о добродетелях покойника и о том, что, по-видимому, ожидало его наследника. (Приезд Троекурова и приём, ему оказанный, были уже известны всему околодку, и тамошние политики предвещали важные оному

последствия.)

— Что будет, то будет, — сказала попадья, — а жаль, если не Владимир Андреевич будет нашим господином. Молодец, нечего сказать.

— А кому же как не ему и быть у нас господином, — прервала Егоровна. — Напрасно Кирила Петрович и горячится. Не на робкого напал: мой соколик и сам за себя постоит, да и, Бог даст, благодетели его не оставят. Больно спесив Кирила Петрович, а небось поджал хвост, когда Гришка мой закричал ему: вон, старый пёс! долой со двора!

— Ахти, Егоровна, — сказал дьячок, — да как у Григорья-то язык повернулся; я скорее соглашусь, кажется, лаять на владыку, чем косо взглянуть на Кирила Петровича. Как увидишь его, страх и трепет, и краплет пот, а спина-то сама так и гнётся, так и гнётся…

— Суета сует, — сказал священник, — и Кирилу Петровичу отпоют вечную память, всё как ныне и Андрею Гавриловичу, разве похороны будут побогаче да гостей созовут побольше, а Богу не всё ли равно!

— Ах, батька! и мы хотели зазвать весь околодок, да Владимир Андреевич не захотел. Небось у нас всего довольно, есть чем угостить, да что

прикажешь делать. По крайней мере, коли нет людей, так уж хоть вас употчую, дорогие гости наши.

Сие ласковое обещание и надежда найти лакомый пирог ускорили шаги собеседников, и они благополучно прибыли в барский дом, где стол был уже накрыт и водка подана.

Между тем Владимир углублялся в чащу дерев, движением и усталостию стараясь заглушать душевную скорбь. Он шёл, не разбирая дороги; сучья поминутно задевали и царапали его, нога его поминутно вязла в болоте, — он ничего не замечал. Наконец достигнул он маленькой лощины, со всех сторон окружённой лесом; ручеёк извивался молча около деревьев, полуобнажённых осенью. Владимир остановился, сел на холодный дёрн, и мысли одна другой мрачнее стеснились в душе его… Сильно чувствовал он своё одиночество. Будущее для него являлось покрытым грозными тучами. Вражда с Троекуровым предвещала ему новые несчастия. Бедное его достояние могло отойти от него в чужие руки; в таком случае нищета ожидала его. Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего несколько поблёклых листьев и живо представлявшего ему верное

подобие жизни — подобие столь обыкновенное. Наконец заметил он, что начало смеркаться; он встал и пошёл искать дороги домой, но ещё долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам его дома.

Навстречу Дубровскому попался поп со всем причетом. Мысль о несчастливом предзнаменовании пришла ему в голову. Он невольно пошёл стороною и скрылся за деревом. Они его не заметили и с жаром говорили между собою, проходя мимо его.

— Удались от зла и сотвори благо, — говорил поп попадье, — нечего нам здесь оставаться. Не твоя беда, чем бы дело ни кончилось. — Попадья что-то отвечала, но Владимир не мог её расслышать.

Приближаясь, увидел он множество народа; крестьяне и дворовые люди толпились на барском дворе. Издали услышал Владимир необыкновенный шум и говор. У сарая стояли две тройки. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сюртуках, казалось, о чём-то толковали.

— Что это значит? — спросил он сердито у Антона, который бежал ему навстречу. — Это кто

такие и что им надобно?

— Ах, батюшка Владимир Андреевич, — отвечал старик, задыхаясь. — Суд приехал. Отдают нас Троекурову, отымают нас от твоей милости!..

Владимир потупил голову, люди его окружили несчастного своего господина.

— Отец ты наш, — кричали они, целуя ему руки, — не хотим другого барина, кроме тебя, прикажи, осударь, с судом мы управимся. Умрём, а не выдадим.

Владимир смотрел на них, и странные чувства волновали его.

— Стойте смирно, — сказал он им, — а я с приказными переговорю.

— Переговори, батюшка, — закричали ему из толпы, — да усовести окаянных.

Владимир подошёл к чиновникам. Шабашкин, с картузом на голове, стоял подбочась и гордо взирал около себя. Исправник, высокий и толстый мужчина лет пятидесяти с красным лицом и в усах, увидя приближающегося Дубровского, крякнул и произнёс охриплым голосом:

— Итак, я вам повторяю то, что уже сказал: по решению уездного суда отныне принадлежите вы Кирилу Петровичу Троекурову, коего лицо представляет здесь господин Шабашкин. Слушайтесь

его во всём, что ни прикажет, а вы, бабы, любите и почитайте его, а он до вас большой охотник.

При сей острой шутке исправник захохотал, а Шабашкин и прочие члены ему последовали. Владимир кипел от негодования.

— Позвольте узнать, что это значит, — спросил он с притворным холоднокровием у весёлого исправника.

— А это то значит, — отвечал замысловатый чиновник, — что мы приехали вводить во владение сего Кирила Петровича Троекурова и просить иных прочих убираться подобру-поздорову.

— Но вы могли бы, кажется, отнестися ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику отрешение от власти…

— А ты кто такой? — сказал Шабашкин с дерзким взором. — Бывший помещик Андрей Гаврилов сын Дубровский волею Божиею помре, — мы вас не знаем, да и знать не хотим.

— Владимир Андреевич наш молодой барин, — сказал голос из толпы.

— Кто там смел рот разинуть, — сказал грозно исправник, — какой барин, какой Владимир Андреевич? барин ваш Кирила Петрович Троекуров, слышите ли, олухи.

— Как не так, — сказал тот же голос.

— Да это бунт! — закричал исправник. — Гей, староста, сюда!

Староста выступил вперёд.

— Отыщи сей же час, кто смел со мною разговаривать, я его!

Староста обратился к толпе, спрашивая, кто говорил? но все молчали; вскоре в задних рядах поднялся ропот, стал усиливаться и в одну минуту превратился в ужаснейшие вопли. Исправник понизил голос и хотел было их уговаривать.

— Да что на него смотреть, — закричали дворовые, — ребята! долой их! — и вся толпа двинулась.

Шабашкин и другие члены поспешно бросились в сени и заперли за собою дверь.

— Ребята, вязать! — закричал тот же голос, и толпа стала напирать…

— Стойте, — крикнул Дубровский. — Дураки! что вы это? вы губите и себя и меня. Ступайте по дворам и оставьте меня в покое. Не бойтесь, государь милостив, я буду просить его. Он нас не обидит. Мы все его дети. А как ему за вас будет заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать.

Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желаемое

действие. Народ утих, разошёлся, двор опустел. Члены сидели в сенях. Наконец Шабашкин тихонько отпер двери, вышел на крыльцо и с униженными поклонами стал благодарить Дубровского за его милостивое заступление.

Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал.

— Мы решили, — продолжал заседатель, — с вашего дозволения остаться здесь ночевать; а то уж темно, и ваши мужики могут напасть на нас на дороге. Сделайте такую милость: прикажите постлать нам хоть сена в гостиной; чем свет мы отправимся восвояси.

— Делайте, что хотите, — отвечал им сухо Дубровский, — я здесь уже не хозяин.

С этим словом он удалился в комнату отца своего и запер за собою дверь.

## Глава VI

«Итак, всё кончено, — сказал он сам себе, — ещё утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился и где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты». И глаза его неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил

её облокоченною на перила, в белом утреннем платье с алой розою в волосах. «И портрет этот достанется врагу моего семейства, — подумал Владимир, — он заброшен будет в кладовую вместе с изломанными стульями или повешен в передней, предметом насмешек и замечаний его псарей, а в её спальной, в комнате, где умер отец, поселится его приказчик или поместится его гарем. Нет! нет! пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня». Владимир стиснул зубы, страшные мысли рождались в уме его. Голоса подьячих доходили до него, они хозяйничали, требовали то того, то другого и неприятно развлекали его среди печальных его размышлений. Наконец всё утихло.

Владимир отпер комоды и ящики, занялся разбором бумаг покойного. Они большею частию состояли из хозяйственных счетов и переписки по разным делам. Владимир разорвал их, не читая. Между ими попался ему пакет с надписью: *письма моей жены*. С сильным движением чувства Владимир принялся за них: они писаны были во время турецкого похода и были адресованы в армию из Кистенёвки. Она описывала ему свою пустынную жизнь, хозяйственные занятия, с нежностию сетовала на разлуку и призывала

его домой, в объятия доброй подруги; в одном из них она изъявляла ему своё беспокойство насчёт здоровья маленького Владимира; в другом она радовалась его ранним способностям и предвидела для него счастливую и блестящую будущность. Владимир зачитался и позабыл всё на свете, погрузясь душою в мир семейственного счастия, и не заметил, как прошло время. Стенные часы пробили одиннадцать. Владимир положил письма в карман, взял свечу и вышел из кабинета. В зале приказные спали на полу. На столе стояли стаканы, ими опорожнённые, и сильный дух рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошёл мимо их в переднюю. Двери были заперты. Не нашед ключа, Владимир возвратился в залу, — ключ лежал на столе, Владимир отворил дверь и наткнулся на человека, прижавшегося в угол; топор блестел у него, и, обратясь к нему со свечою, Владимир узнал Архипа-кузнеца.

— Зачем ты здесь? — спросил он.

— Ах, Владимир Андреевич, это вы, — отвечал Архип пошепту, — Господь помилуй и спаси! хорошо, что вы шли со свечою!

Владимир глядел на него с изумлением.

— Что ты здесь притаился? — спросил он куз-

неца.

— Я хотел… я пришёл… было проведать, все ли дома, — тихо отвечал Архип запинаясь.

— А зачем с тобою топор?

— Топор-то зачем? Да как же без топора нонече и ходить. Эти приказные такие, вишь, озорники — того и гляди…

— Ты пьян, брось топор, поди выспись.

— Я пьян? Батюшка Владимир Андреевич, Бог свидетель, ни единой капли во рту не было… да и пойдёт ли вино на ум, слыхано ли дело, подьячие задумали нами владеть, подьячие гонят наших господ с барского двора… Эк они храпят, окаянные; всех бы разом, так и концы в воду.

Дубровский нахмурился.

— Послушай, Архип, — сказал он, немного помолчав, — не дело ты затеял. Не приказные виноваты. Засвети-ка фонарь ты, ступай за мною.

Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкою фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца и пошли около двора. Сторож начал бить в чугунную доску, собаки залаяли.

— Кто сторожа? — спросил Дубровский.

— Мы, батюшка, — отвечал тонкий голос, — Василиса да Лукерья.

— Подите по дворам, — сказал им Дубров-

ский, — вас не нужно.

— Шабаш, — промолвил Архип.

— Спасибо, кормилец, — отвечали бабы и тотчас отправились домой.

Дубровский пошёл далее. Два человека приблизились к нему; они его окликали. Дубровский узнал голос Антона и Гриши.

— Зачем вы не спите? — спросил он их.

— До сна ли нам, — отвечал Антон. — До чего мы дожили, кто бы подумал…

— Тише! — прервал Дубровский, — где Егоровна?

— В барском доме, в своей светёлке, — отвечал Гриша.

— Поди приведи её сюда, да выведи из дому всех наших людей, чтоб ни одной души в нём не оставалось, кроме приказных, а ты, Антон, запряги телегу.

Гриша ушёл и через минуту явился с своею матерью. Старуха не раздевалась в эту ночь; кроме приказных, никто в доме не смыкал глаза.

— Все ли здесь? — спросил Дубровский, — не осталось ли никого в доме?

— Никого, кроме подьячих, — отвечал Гриша.

— Давайте сюда сена или соломы, — сказал Дубровский.

Люди побежали в конюшню и возвратились, неся в охапках сено.

— Подложите под крыльцо. Вот так. Ну, ребята, огню!

Архип открыл фонарь, Дубровский зажёг лучину.

— Постой, — сказал он Архипу, — кажется, второпях я запер двери в переднюю, поди скорей отопри их.

Архип побежал в сени — двери были отперты. Архип запер их на ключ, примолвя вполголоса: *как не так, отопри!* и возвратился к Дубровскому.

Дубровский приблизил лучину, сено вспыхнуло, пламя взвилось и осветило весь двор.

— Ахти, — жалобно закричала Егоровна, — Владимир Андреевич, что ты делаешь!

— Молчи, — сказал Дубровский. — Ну, дети, прощайте, иду, куда Бог поведёт; будьте счастливы с новым вашим господином.

— Отец наш, кормилец, — отвечали люди, — умрём — не оставим тебя, идём с тобою.

Лошади были поданы; Дубровский сел с Гришею в телегу и назначил им местом свидания Кистенёвскую рощу. Антон ударил по лошадям, и они выехали со двора.

Поднялся ветер. В одну минуту пламя обхватило весь дом. Красный дым вился над кровлею. Стёкла трещали, сыпались, пылающие брёвна стали падать, раздался жалобный вопль и крики: «горим, помогите, помогите».

–*Как не так*, — сказал Архип, с злобной улыбкой взирающий на пожар.

— Архипушка, — говорила ему Егоровна, — спаси их, окаянных, Бог тебя наградит.

— Как не так, — отвечал кузнец.

В сию минуту приказные показались в окно, стараясь выломать двойные рамы. Но тут кровля с треском рухнула, и вопли утихли.

Вскоре вся дворня высыпала на двор. Бабы с криком спешили спасти свою рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь на пожар. Искры полетели огненной метелью, избы загорелись.

— Теперь всё ладно, — сказал Архип, — каково горит, а? чай, из Покровского славно смотреть.

В сию минуту новое явление привлекло его внимание; кошка бегала по кровле пылающего сарая, недоумевая, куда спрыгнуть; со всех сторон окружало её пламя. Бедное животное жалким мяуканием призывало на помощь. Мальчишки помирали со смеху, смотря на её отчаяние.

— Чему смеётеся, бесенята, — сказал им сер-

дито кузнец. — Бога вы не боитесь: Божия тварь погибает, а вы сдуру радуетесь, — и, поставя лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Она поняла его намерение и с видом торопливой благодарности уцепилась за его рукав. Полуобгорелый кузнец с своей добычей полез вниз. — Ну, ребята, прощайте, — сказал он смущённой дворне, — мне здесь делать нечего. Счастливо, не поминайте меня лихом.

*Очень яркая, противоречивая сцена: равнодушие крестьян по отношению к приказчикам и сочувствие к кошке, «божьей твари», выстраивает довольно четкую антитезу в поведении крепостных и показывает, каким жестоким может оказаться русский народ, если ему навязывать чужую волю и лишить привычной жизни.*

Кузнец ушёл; пожар свирепствовал ещё несколько времени. Наконец унялся, и груды углей без пламени ярко горели в темноте ночи, и около них бродили погорелые жители Кистенёвки.

## Глава VII

На другой день весть о пожаре разнеслась по всему околодку. Все толковали о нём с различ-

ными догадками и предположениями. Иные уверяли, что люди Дубровского, напившись пьяны на похоронах, зажгли дом из неосторожности, другие обвиняли приказных, подгулявших на новоселии, многие уверяли, что он сам сгорел с земским судом и со всеми дворовыми. Некоторые догадывались об истине и утверждали, что виновником сего ужасного бедствия был сам Дубровский, движимый злобой и отчаянием. Троекуров приезжал на другой же день на место пожара и сам производил следствие. Оказалось, что исправник, заседатель земского суда, стряпчий и писарь, так же как Владимир Дубровский, няня Егоровна, дворовый человек Григорий, кучер Антон и кузнец Архип, пропали неизвестно куда. Все дворовые показали, что приказные сгорели в то время, как повалилась кровля; обгорелые кости их были отрыты. Бабы Василиса и Лукерья сказали, что Дубровского и Архипа-кузнеца видели они за несколько минут перед пожаром. Кузнец Архип, по всеобщему показанию, был жив и, вероятно, главный, если не единственный, виновник пожара. На Дубровском лежали сильные подозрения. Кирила Петрович послал губернатору подробное описание всему происшествию, и новое дело завязалось.

Вскоре другие вести дали другую пищу любопытству и толкам. В ** появились разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Меры, принятые противу них правительством, оказались недостаточными. Грабительства, одно другого замечательнее, следовали одно за другим. Не было безопасности ни по дорогам, ни по деревням. Несколько троек, наполненных разбойниками, разъезжали днём по всей губернии, останавливали путешественников и почту, приезжали в сёла, грабили помещичьи дома и предавали их огню. Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием. Рассказывали о нём чудеса; имя Дубровского было во всех устах, все были уверены, что он, а не кто другой, предводительствовал отважными злодеями. Удивлялись одному — поместия Троекурова были пощажены; разбойники не ограбили у него ни единого сарая, не остановили ни одного воза. С обыкновенной своей надменностию Троекуров приписывал сие исключение страху, который умел он внушить всей губернии, также и отменно хорошей полиции, им заведённой в его деревнях. Сначала соседи смеялись между собою над высокомерием Троекурова и каждый день ожидали, чтоб незваные гости посетили

Покровское, где было им чем поживиться, но наконец принуждены были с ним согласиться и сознаться, что и разбойники оказывали ему непонятное уважение… Троекуров торжествовал и при каждой вести о новом грабительстве Дубровского рассыпался в насмешках насчёт губернатора, исправников и ротных командиров, от коих Дубровский уходил всегда невредимо.

Между тем наступило 1 октября — день храмового праздника в селе Троекурова. Но прежде чем приступим к описанию сего торжества и дальнейших происшествий, мы должны познакомить читателя с лицами для него новыми или о коих мы слегка только упомянули в начале нашей повести.

## Глава VIII

Читатель, вероятно, уже догадался, что дочь Кирила Петровича, о которой сказали мы ещё только несколько слов, есть героиня нашей повести. В эпоху, нами описываемую, ей было семнадцать лет, и красота её была в полном цвете. Отец любил её до безумия, но обходился с нею со свойственным ему своенравием, то стараясь угождать малейшим её прихотям, то пугая её

суровым, а иногда и жестоким обращением. Уверенный в её привязанности, никогда не мог он добиться её доверенности. Она привыкла скрывать от него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать наверно, каким образом будут они приняты. Она не имела подруг и выросла в уединении. Жёны и дочери соседей редко езжали к Кирилу Петровичу, коего обыкновенные разговоры и увеселения требовали товарищества мужчин, а не присутствия дам. Редко наша красавица являлась посреди гостей, пирующих у Кирила Петровича. Огромная библиотека, составленная большею частию из сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в её распоряжение. Отец её, никогда не читавший ничего, кроме «Совершенной поварихи», не мог руководствовать её в выборе книг, и Маша, естественным образом, перерыв сочинения всякого рода, остановилась на романах. Таким образом совершила она своё воспитание, начатое некогда под руководством мамзель Мими, которой Кирила Петрович оказывал большую доверенность и благосклонность и которую принуждён он был наконец выслать тихонько в другое поместие, когда следствия сего дружества оказались слишком явными. Мамзель Мими оставила по себе память

довольно приятную. Она была добрая девушка и никогда во зло не употребляла влияния, которое видимо имела над Кирилом Петровичем, в чём отличалась она от других наперсниц, поминутно им сменяемых. Сам Кирила Петрович, казалось, любил её более прочих, и черноглазый мальчик, шалун лет девяти, напоминающий полуденные черты m-lle Мими, воспитывался при нём и признан был его сыном, несмотря на то что множество босых ребятишек, как две капли воды похожих на Кирила Петровича, бегали перед его окнами и считались дворовыми. Кирила Петрович выписал из Москвы для своего маленького Саши француза-учителя, который и прибыл в Покровское во время происшествий, нами теперь описываемых.

*Во времена Пушкина особой популярностью пользовались французские, немецкие и английские сентиментальные романы. Маша Троекурова тоже их читает, ибо в ее распоряжении была домашняя библиотека. Сентиментальная литература предполагала возвышенность, даже некую мелодраматичность (т. е. излишество) изображения чувств, а главные герои таких романов должны быть обязательно прекрасны душой и телом, благородны в своих помыслах и*

*жаждать настоящей любви. В «Дубровском», по всей видимости, Пушкин хотел усложнить психологические находки сентиментального романа и использовать их для преобразования текста в реалистический роман: отсылки к сюжету «Ромео и Джульетты» Шекспира (ссора родителей) вместе с традицией романтично-приключенческой (благородный разбойник) и сентиментальной литературы создают нужную ассоциацию у современного для автора читателя и подсказывают возможное развитие дальнейших событий, при этом двигая сам текст в сторону реализма.*

Сей учитель понравился Кирилу Петровичу своей приятной наружностию и простым обращением. Он представил Кирилу Петровичу свои аттестаты и письмо от одного из родственников Троекурова, у которого четыре года жил он гувернёром. Кирила Петрович всё это пересмотрел и был недоволен одною молодостью своего француза — не потому, что полагал бы сей любезный недостаток несовместным с терпением и опытностию, столь нужными в несчастном звании учителя, но у него были свои сомнения, которые тотчас и решился ему объяснить. Для сего велел он позвать к себе Машу (Кирила Петрович по-французски не говорил, и она служила ему

переводчиком).

— Подойди сюда, Маша: скажи ты этому мусье, что так и быть, принимаю его; только с тем, чтоб он у меня за моими девушками не осмелился волочиться, не то я его, собачьего сына… переведи это ему, Маша.

Маша покраснела и, обратясь к учителю, сказала ему по-французски, что отец её надеется на его скромность и порядочное поведение.

Француз ей поклонился и отвечал, что он надеется заслужить уважение, даже если откажут ему в благосклонности.

Маша слово в слово перевела его ответ.

— Хорошо, хорошо, — сказал Кирила Петрович, — не нужно для него ни благосклонности, ни уважения. Дело его ходить за Сашей и учить грамматике да географии, переведи это ему.

Марья Кириловна смягчила в своём переводе грубые выражения отца, и Кирила Петрович отпустил своего француза во флигель, где назначена была ему комната.

Маша не обратила никакого внимания на молодого француза, воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для неё род слуги или мастерового, а слуга иль мастеровой не казался ей мужчиною. Она не заметила и впечат-

ления, ею произведённого на m-r Деформа, ни его смущения, ни его трепета, ни изменившегося голоса. Несколько дней сряду потом она встречала его довольно часто, не удостоивая большей внимательности. Неожиданным образом получила она о нём совершенно новое понятие.

На дворе у Кирила Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат и составляли одну из главных забав покровского помещика. В первой своей молодости медвежата приводимы были ежедневно в гостиную, где Кирила Петрович по целым часам возился с ними, стравливая их с кошками и щенятами. Возмужав, они бывали посажены на цепь в ожидании настоящей травли. Изредка выводили пред окна барского дома и подкатывали им порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями; медведь обнюхивал её, потом тихонько до неё дотрогивался, колол себе лапы, осердясь толкал её сильнее, и сильнее становилась боль. Он входил в совершенное бешенство, с рёвом бросался на бочку, покамест не отымали у бедного зверя предмета тщетной его ярости. Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волею и неволею сажали в неё гостей и пускали их скакать на волю Божию. Но лучшею шуткою почиталась у Кирила Петровича следующая.

Прогладавшегося медведя запрут, бывало, в пустой комнате, привязав его верёвкою за кольцо, ввинченное в стену. Верёвка была длиною почти во всю комнату, так что один только противуположный угол мог быть безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, нечаянно вталкивали его к медведю, двери запирались, и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынником. Бедный гость, с оборванной полою и до крови оцарапанный, скоро отыскивал безопасный угол, но принуждён был иногда целых три часа стоять прижавшись к стене и видеть, как разъярённый зверь в двух шагах от него ревел, прыгал, становился на дыбы, рвался и силился до него дотянуться. Таковы были благородные увеселения русского барина! Несколько дней спустя после приезда учителя Троекуров вспомнил о нём и вознамерился угостить его в медвежьей комнате: для сего, призвав его однажды утром, повёл он его с собою тёмными коридорами; вдруг боковая дверь отворилась, двое слуг вталкивают в неё француза и запирают её на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя, зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, подняв-

шись на задние лапы, пошёл на него… Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приближился, Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Всё сбежалось, двери отворились, Кирила Петрович вошёл, изумлённый развязкою своей шутки. Кирила Петрович хотел непременно объяснения всему делу: кто предварил Дефоржа о шутке, для него предуготовленной, или зачем у него в кармане был заряженный пистолет. Он послал за Машей, Маша прибежала и перевела французу вопросы отца.

— Я не слыхивал о медведе, — отвечал Дефорж, — но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую, по моему званью, не могу требовать удовлетворения.

Маша смотрела на него с изумлением и перевела слова его Кирилу Петровичу. Кирила Петрович ничего не отвечал, велел вытащить медведя и снять с него шкуру; потом, обратясь к своим людям, сказал: «Каков молодец! не струсил, ей-богу, не струсил». С той минуты он Дефоржа полюбил и не думал уж его пробовать.

*Пушкин довольно лаконичен в передаче любов-*

*ных переживаний своих героев. То, что в сентиментальном романе занимает по несколько страниц и является центральной линией повествования, в «Дубровском» лишь одна из ступеней развития сюжета, которой уделяется всего несколько предложений, так как интересует автора не столько эмоциональная, сколько социальная составляющая. Храбрость и стойкость свойственны не только благородному сословию, что являлось основным мотивом для текстов эпохи романтизма и что наследует роман реалистический.*

Но случай сей произвёл ещё большее впечатление на Марью Кириловну. Воображение её было поражено: она видела мёртвого медведя и Дефоржа, спокойно стоящего над ним и спокойно с нею разговаривающего. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию, и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее. Между ими основались некоторые сношения. Маша имела прекрасный голос и большие музыкальные способности; Дефорж вызвался давать ей уроки. После того читателю уже нетрудно догадаться, что Маша в него влюбилась, сама ещё в том себе

не признаваясь.

## Том второй
## Глава IX

Накануне праздника гости начали съезжаться, иные останавливались в господском доме и во флигелях, другие у приказчика, третьи у священника, четвёртые у зажиточных крестьян. Конюшни полны были дорожных лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. В девять часов утра заблаговестили к обедне, и всё потянулось к новой каменной церкви, построенной Кирилом Петровичем и ежегодно украшаемой его приношениями. Собралось такое множество почётных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкви и стояли на паперти и в ограде. Обедня не начиналась, ждали Кирила Петровича. Он приехал в коляске шестернёю и торжественно пошёл на своё место, сопровождаемый Мариею Кириловной. Взоры мужчин и женщин обратились на неё; первые удивлялись её красоте, вторые со вниманием осмотрели её наряд. Началась обедня, домашние певчие пели на крылосе, Кирила Петрович сам подтягивал, молился, не смотря ни направо, ни

налево, и с гордым смирением поклонился в землю, когда дьякон громогласно упомянул *и о зиждителе храма сего*.

Обедня кончилась. Кирила Петрович первый подошёл ко кресту. Все двинулись за ним, потом соседи подошли к нему с почтением. Дамы окружили Машу. Кирила Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать, сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним. Комнаты наполнились гостями. Поминутно входили новые лица и насилу могли пробраться до хозяина. Барыни сели чинным полукругом, одетые по запоздалой моде, в поношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах и бриллиантах, мужчины толпились около икры и водки, с шумным разногласием разговаривая между собою. В зале накрывали стол на восемьдесят приборов. Слуги суетились, расставляя бутылки и графины и прилаживая скатерти. Наконец дворецкий провозгласил: «кушание поставлено», — и Кирила Петрович первый пошёл садиться за стол, за ним двинулись дамы и важно заняли свои места, наблюдая некоторое старшинство, барышни стеснились между собою, как робкое стадо козочек, и выбрали себе места одна подле другой. Против них поместились мужчины. На конце стола сел

учитель подле маленького Саши.

Слуги стали разносить тарелки по чинам, в случае недоумения руководствуясь лафатерскими догадками, и почти всегда безошибочно. Звон тарелок и ложек слился с шумным говором гостей, Кирила Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаждался счастием хлебосола. В это время въехала на двор коляска, запряжённая шестью лошадьми.

— Это кто? — спросил хозяин.

— Антон Пафнутьич, — отвечали несколько голосов. Двери отворились, и Антон Пафнутьич Спицын, толстый мужчина лет пятидесяти с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь извиниться…

— Прибор сюда, — закричал Кирила Петрович, — милости просим, Антон Пафнутьич, садись, да скажи нам, что это значит: не был у моей обедни и к обеду опоздал. Это на тебя не похоже: ты и богомолен и покушать любишь.

— Виноват, — отвечал Антон Пафнутьич, привязывая салфетку в петлицу горохового кафтана, — виноват, батюшка Кирила Петрович, я было рано пустился в дорогу, да не успел отъехать и десяти вёрст, вдруг шина у переднего колеса

пополам — что прикажешь? К счастию, недалеко было от деревни; пока до неё дотащились, да отыскали кузнеца, да всё кое-как уладили, прошли ровно три часа, делать было нечего. Ехать ближним путём через Кистенёвский лес я не осмелился, а пустился в объезд…

— Эге! — прервал Кирила Петрович, — да ты, знать, не из храброго десятка; чего ты боишься?

— Как — чего боюсь, батюшка Кирила Петрович, а Дубровского-то; того и гляди, попадёшься ему в лапы. Он малый не промах, никому не спустит, а с меня, пожалуй, и две шкуры сдерёт.

— За что же, братец, такое отличие?

— Как за что, батюшка Кирила Петрович? а за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича. Не я ли в удовольствие ваше, то есть по совести и по справедливости, показал, что Дубровские владеют Кистенёвкой безо всякого на то права, а единственно по снисхождению вашему. И покойник (царство ему небесное) обещал со мною по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкино. Доселе Бог миловал. Всего-на-всё разграбили у меня один анбар, да того и гляди, до усадьбы доберутся.

— А в усадьбе-то будет им раздолье, — заметил Кирила Петрович, — я чай, красная шкатулочка

полным-полна…

— Куда, батюшка Кирила Петрович. Была полна, а нынче совсем опустела!

— Полно врать, Антон Пафнутьич. Знаем мы вас; куда тебе деньги тратить, дома живёшь свинья свиньёй, никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь, знай копишь да и только.

— Вы всё изволите шутить, батюшка Кирила Петрович, — пробормотал с улыбкою Антон Пафнутьич, — а мы, ей-богу, разорились, — и Антон Пафнутьич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки.

Кирила Петрович оставил его и обратился к новому исправнику, в первый раз к нему в гости приехавшему и сидящему на другом конце стола подле учителя.

— А что, поймаете хоть вы Дубровского, господин исправник?

Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнёс наконец:

— Постараемся, ваше превосходительство.

— Гм, постараемся. Давно, давно стараются, а проку всё-таки нет. Да правда, зачем и ловить его. Разбои Дубровского благодать для исправников: разъезды, следствия, подводы, а деньга в карман. Как такого благодетеля извести? Не правда ли,

господин исправник?

— Сущая правда, ваше превосходительство, — отвечал совершенно смутившийся исправник.

Гости захохотали.

— Люблю молодца за искренность, — сказал Кирила Петрович, — а жаль покойного нашего исправника Тараса Алексеевича; кабы не сожгли его, так в околодке было бы тише. А что слышно про Дубровского? где его видели в последний раз?

— У меня, Кирила Петрович, — пропищал толстый дамский голос, — в прошлый вторник обедал он у меня…

Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и весёлый нрав. Все с любопытством приготовились услышать её рассказ.

— Надобно знать, что тому три недели послала я приказчика на почту с деньгами для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии баловать, хоть бы и хотела; однако сами изволите знать: офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом, и я с Ванюшей делюсь, как могу, своими доходишками. Вот и послала ему две тысячи рублей, хоть Дубровский не раз приходил мне в голову, да думаю: город близко,

всего семь вёрст, авось Бог пронесёт. Смотрю: вечером мой приказчик возвращается, бледен, оборван и пеш — я так и ахнула. «Что такое? что с тобою сделалось?» Он мне: «Матушка Анна Савишна, разбойники ограбили; самого чуть не убили, сам Дубровский был тут, хотел повесить меня, да сжалился и отпустил, зато всего обобрал, отнял и лошадь и телегу». Я обмерла; Царь мой Небесный, что будет с моим Ванюшею? Делать нечего: написала я сыну письмо, рассказала всё и послала ему своё благословение без гроша денег.

Прошла неделя, другая — вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мною увидеться: милости просим; входит ко мне человек лет тридцати пяти, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, сущий портрет Кульнева, рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича; он-де ехал мимо и не мог не заехать к его вдове, зная, что я тут живу. Я угостила его чем Бог послал, разговорились о том о сём, наконец и о Дубровском. Я рассказала ему своё горе. Генерал мой нахмурился. «Это странно, — сказал он, — я слыхал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочиста, а в убийствах никто его не обвиняет; нет ли тут

плутни, прикажите-ка позвать вашего приказчика». Пошли за приказчиком, он явился; только увидел генерала, он так и остолбенел. «Расскажика мне, братец, каким образом Дубровский тебя ограбил и как он хотел тебя повесить». Приказчик мой задрожал и повалился генералу в ноги. «Батюшка, виноват — грех попутал — солгал». — «Коли так, — отвечал генерал, — так изволь же рассказать барыне, как всё дело случилось, а я послушаю». Приказчик не мог опомниться. «Ну что же, — продолжал генерал, — рассказывай: где ты встретился с Дубровским?» — «У двух сосен, батюшка, у двух сосен». — «Что же сказал он тебе?» — «Он спросил у меня, чей ты, куда едешь и зачем?» — «Ну, а после?» — «А после потребовал он письмо и деньги». — «Ну». — «Я отдал ему письмо и деньги». — «А он?.. Ну, а он?» — «Батюшка, виноват». — «Ну, что ж он сделал?» — «Он возвратил мне деньги и письмо да сказал: ступай себе с Богом, отдай это на почту». — «Ну, а ты?» — «Батюшка, виноват». — «Я с тобою, голубчик, управлюсь, — сказал грозно генерал, — а вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника и отдайте его мне на руки, а я его проучу. Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером, он не захочет

обидеть товарища». Я догадывалась, кто был его превосходительство, нечего мне было с ним толковать. Кучера привязали приказчика к козлам коляски. Деньги нашли; генерал у меня отобедал, потом тотчас уехал и увёз с собою приказчика. Приказчика моего нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного как липку.

Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни. Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нём героя романического, особенно Марья Кириловна, пылкая мечтательница, напитанная таинственными ужасами Радклиф.

*Анна Радклиф — популярная английская писательница готических романов конца XVIII в. Действия таких романов, как правило, происходят в старинных замках или усадьбах, сюжеты полны мистики и иррациональных явлений, герои отмечены печатью рока и вынуждены противостоять злу. Обычно именно невинная дева является главной героиней: она оказывается в ловушке темных сил и ожидает чудесного спасения. Упоминание Радклиф помогает лучше составить портрет Маши Троекуровой: девушка не просто мечтательница, а любительница красивых историй, полных тайн и загадок, в которых геро-*

*ем-спасителем оказывается прекрасный юноша. Естественно, она и сама была бы не против оказаться героиней такой истории. А загадочный и неуловимый Дубровский прекрасно подходит на роль героя готических романов.*

— И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский? — спросил Кирила Петрович. — Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский.

— Как, батюшка, не Дубровский, да кто же, как не он, выедет на дорогу и станет останавливать прохожих да их осматривать.

— Не знаю, а уж верно не Дубровский. Я помню его ребёнком; не знаю, почернели ль у него волоса, а тогда был он кудрявый белокуренький мальчик, но знаю наверное, что Дубровский пятью годами старше моей Маши и что, следственно, ему не тридцать пять лет, а около двадцати трёх.

— Точно так, ваше превосходительство, — провозгласил исправник, — у меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему от роду двадцать третий год.

— А! — сказал Кирила Петрович, — кстати: прочти-ка, а мы послушаем; не худо нам знать его приметы; авось в глаза попадётся, так не вывернется.

Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностию и стал читать нараспев.

«Приметы Владимира Дубровского, составленные по сказкам бывших его дворовых людей.

От роду 23 года, *роста* середнего, *лицом* чист, *бороду* бреет, *глаза* имеет карие, *волосы* русые, *нос* прямой. *Приметы особые:* таковых не оказалось».

— И только? — сказал Кирила Петрович.

— Только, — отвечал исправник, складывая бумагу.

— Поздравляю, господин исправник. Ай да бумага! по этим приметам немудрено будет вам отыскать Дубровского. Да кто же не среднего роста, у кого не русые волосы, не прямой нос да не карие глаза! Бьюсь об заклад, три часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем Бог тебя свёл. Нечего сказать, умные головушки приказные!

Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой. Между тем слуги успели уже несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок горского и цымлянского громко были уже откупорены и приняты благосклонно под

именем шампанского, лица начинали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее.

— Нет, — продолжал Кирила Петрович, — уж не видать нам такого исправника, каков был покойник Тарас Алексеевич! Этот был не промах, не разиня. Жаль, что сожгли молодца, а то бы от него не ушёл ни один человек изо всей шайки. Он бы всех до единого переловил, да и сам Дубровский не вывернулся б и не откупился. Тарас Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и самого не выпустил: таков был обычай у покойника. Делать нечего, видно, мне вступиться в это дело да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отряжу человек двадцать, так они и очистят воровскую рощу; народ не трусливый, каждый в одиночку на медведя ходит, от разбойников не попятятся.

— Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирила Петрович, — сказал Антон Пафнутьич, вспомня при сих словах о своём косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвою.

— Миша приказал долго жить, — отвечал Кирила Петрович. — Умер славною смертью, от руки неприятеля. Вон его победитель, — Кирила Петрович указывал на Дефоржа, — выменяй

образ моего француза. Он отомстил за твою… с позволения сказать… Помнишь?

— Как не помнить, — сказал Антон Пафнутьич почёсываясь, — очень помню. Так Миша умер. Жаль Миши, ей-богу жаль! какой был забавник! какой умница! эдакого медведя другого не сыщешь. Да зачем мусье убил его?

Кирила Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только ни окружало его. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти и с изумлением посматривали на Дефоржа, который, не подозревая, что разговор шёл о его храбрости, спокойно сидел на своём месте и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику.

Обед, продолжавшийся около трёх часов, кончился; хозяин положил салфетку на стол, все встали и пошли в гостиную, где ожидал их кофей, карты и продолжение попойки, столь славно начатой в столовой.

## Глава X

Около семи часов вечера некоторые гости хотели ехать, но хозяин, развеселённый пуншем, приказал запереть ворота и объявил, что до следующего утра никого со двора не выпустит. Скоро загремела музыка, двери в залу отворились, и бал завязался. Хозяин и его приближённые сидели в углу, выпивая стакан за стаканом и любуясь весёлостию молодёжи. Старушки играли в карты. Кавалеров, как и везде, где не квартирует какой-нибудь уланской бригады, было менее, нежели дам, все мужчины, годные на то, были завербованы. Учитель между всеми отличался, он танцевал более всех, все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать. Несколько раз кружился он с Марьей Кириловною, и барышни насмешливо за ними примечали. Наконец около полуночи усталый хозяин прекратил танцы, приказал давать ужинать, а сам отправился спать.

Отсутствие Кирила Петровича придало обществу более свободы и живости. Кавалеры осмелились занять место подле дам. Девицы смеялись и перешёптывались со своими соседями;

дамы громко разговаривали через стол. Мужчины пили, спорили и хохотали, — словом, ужин был чрезвычайно весел и оставил по себе много приятных воспоминаний.

Один только человек не участвовал в общей радости: Антон Пафнутьич сидел пасмурен и молчалив на своём месте, ел рассеянно и казался чрезвычайно беспокоен. Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться.

Антон Пафнутьич, призывая Господа в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал: красная шкатулка точно была пуста, деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную суму, которую носил он на груди под рубашкой. Сею только предосторожностию успокоивал он свою недоверчивость ко всем и вечную боязнь. Будучи принуждён остаться ночевать в чужом доме, он боялся, чтоб не отвели ему ночлега где-нибудь в уединённой комнате, куда легко могли забраться воры, он искал глазами надёжного товарища и выбрал наконец Деформа. Его наружность, обличающая силу, а пуще храбрость, им оказанная при встрече с медведем, о коем бедный Антон Пафнутьич не мог вспомнить без

содрогания, решили его выбор. Когда встали из-за стола, Антон Пафнутьич стал вертеться около молодого француза, покрякивая и откашливаясь, и наконец обратился к нему с изъяснением:

— Гм, гм, нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей конурке, потому что извольте видеть…

— Que désire monsieur?[74] — спросил Дефорж, учтиво ему поклонившись.

— Эк беда, ты, мусье, по-русски ещё не выучился. Же ве, муа, ше ву кушe[75], понимаешь ли?

— Monsieur, très volontiers,– отвечал Дефорж,– veuillez donner des ordres en conséquence[76].

Антон Пафнутьич, очень довольный своими сведениями во французском языке, пошёл тотчас распоряжаться.

Гости стали прощаться между собою, и каждый отправился в комнату, ему назначенную. А Антон Пафнутьич пошёл с учителем во флигель. Ночь была тёмная. Дефорж освещал дорогу фонарём, Антон Пафнутьич шёл за ним довольно бодро,

---

**[74] Примечания: 74**
Чего изволите? *(фр.)*

**[75] Примечания: 75**
Я хочу спать у вас *(фр.)*.

**[76] Примечания: 76**
Сделайте одолжение, сударь, прошу вас сделать соответствующие распоряжения *(фр.)*.

прижимая изредка к груди потаённую суму, дабы удостовериться, что деньги его ещё при нём.

Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться; между тем Антон Пафнутьич похаживал по комнате, осматривая замки и окна и качая головою при сём неутешительном осмотре. Двери запирались одною задвижкою, окна не имели ещё двойных рам. Он попытался было жаловаться на то Дефоржу, но знания его во французском языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения; француз его не понял, и Антон Пафнутьич принуждён был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой, оба легли, и учитель потушил свечу.

— Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше?[77] — закричал Антон Пафнутьич, спрягая с грехом пополам русский глагол *тушу* на французский лад.– Я не могу дормир[78] в потёмках.

Дефорж не понял его восклицания и пожелал ему доброй ночи.

— Проклятый басурман,– проворчал Спицын, закутываясь в одеяло.– Нужно ему было свечку

---

**[77] Примечания: 77**
Зачем вы, зачем вы? *(фр.)*

**[78] Примечания: 78**
Спать *(фр.)*.

тушить. Ему же хуже. Я спать не могу без огня.– Мусье, мусье,– продолжал он,– же ве авек ву парле [79].

Но француз не отвечал и вскоре захрапел.

«Храпит бестия француз, — подумал Антон Пафнутьич, — а мне так сон и в ум нейдёт. Того и гляди, воры войдут в открытые двери или влезут в окно, а его, бестию, и пушками не добудишься».

— Мусье! а, мусье! дьявол тебя побери.

Антон Пафнутьич замолчал, усталость и винные пары мало-помалу превозмогли его боязливость, он стал дремать, и вскоре глубокий сон овладел им совершенно.

Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дёргал его за ворот рубашки. Антон Пафнутьич открыл глаза и при бледном свете осеннего утра увидел перед собою Деформа: француз в одной руке держал карманный пистолет, а другою отстёгивал заветную суму. Антон Пафнутьич обмер.

— Кесь ке се, мусье, кесь ке се?[80] — произнёс он трепещущим голосом.

— Тише, молчать, — отвечал учитель чистым

---

**[79] Примечания: 79**

Сударь, сударь, я хочу с вами поговорить *(фр.)*.

**[80] Примечания: 80**

Что это значит, сударь, что это значит? *(фр.)*

русским языком, — молчать, или вы пропали. Я — Дубровский.

## Глава XI

Теперь попросим у читателя позволения объяснить последние происшествия повести нашей предыдущими обстоятельствами, кои не успели мы ещё рассказать.

На станции ** в доме смотрителя, о коем уже мы упомянули, сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца или иностранца, то есть человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточного состояния. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофию, поглядывал в окно и посвистывал, к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородкою.

— Вот Бог послал свистуна, — говорила она вполголоса, — эк посвистывает, чтоб он лопнул, окаянный басурман.

— А что? — сказал смотритель, — что за беда, пускай себе свищет.

— Что за беда? — возразила сердитая супруга. —

А разве не знаешь приметы?

— Какой приметы? что свист деньгу выживает? И! Пахомовна, у нас что свисти, что нет: а денег всё нет как нет.

— Да отпусти ты его, Сидорыч. Охота тебе его держать. Дай ему лошадей, да провались он к чёрту.

— Подождёт, Пахомовна; на конюшне всего три тройки, четвёртая отдыхает. Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие; не хочу своею шеей отвечать за француза. Чу, так и есть! вон скачут. Э-ге-ге, да как шибко; уж не генерал ли?

Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошёл к смотрителю; вслед за ним слуга внёс шкатулку и поставил её на окошко.

— Лошадей, — сказал офицер повелительным голосом.

— Сейчас, — отвечал смотритель. — Пожалуйте подорожную.

— Нет у меня подорожной. Я еду в сторону… Разве ты меня не узнаёшь?

Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперёд по комнате, зашёл за перегородку и спро-

сил тихо у смотрительши: кто такой проезжий.

— Бог его ведает, — отвечала смотрительша, — какой-то француз. Вот уж пять часов как дожидается лошадей да свищет. Надоел, проклятый.

Молодой человек заговорил с проезжим по-французски.

— Куда изволите вы ехать? — спросил он его.

— В ближний город, — отвечал француз, — оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учители. Я думал сегодня быть уже на месте, но господин смотритель, кажется, судил иначе. В этой земле трудно достать лошадей, господин офицер.

— А к кому из здешних помещиков определились вы? — спросил офицер.

— К господину Троекурову, — отвечал француз.

— К Троекурову? кто такой этот Троекуров?

— Ma foi, mon officier...[81] я слыхал о нём мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, жестокий в обращении со своими домашними, что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, что с учителями (avec les outchitels) он не церемонится и уже двух

---

**[81] Примечания: 81**
Право, господин офицер... *(фр.)*

засёк до смерти.

— Помилуйте! и вы решились определиться к такому чудовищу.

— Что же делать, господин офицер. Он предлагает мне хорошее жалованье, три тысячи рублей в год и всё готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка мать, половину жалованья буду отсылать ей на пропитание, из остальных денег в пять лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости, и тогда bonsoir[82], еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты.

— Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова? — спросил он.

— Никто, — отвечал учитель, — меня он выписал из Москвы чрез одного из своих приятелей, коего повар, мой соотечественник, меня рекомендовал. Надобно вам знать, что я готовился было не в учителя, а в кондиторы, но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее…

Офицер задумался.

— Послушайте, — прервал офицер, — что, если бы вместо этой будущности предложили вам

---

**[82] Примечания: 82**
До свиданья *(фр.)*.

десять тысяч чистыми деньгами с тем, чтоб сей же час отправились обратно в Париж?

Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головою.

— Лошади готовы, — сказал вошедший смотритель. Слуга подтвердил то же самое.

— Сейчас, — отвечал офицер, — выдьте вон на минуту. — Смотритель и слуга вышли. — Я не шучу, — продолжал он по-французски, — десять тысяч могу я вам дать, мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги. — При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций.

Француз вытаращил глаза. Он не знал, что и думать.

— Моё отсутствие… мои бумаги, — повторял он с изумлением. — Вот мои бумаги… Но вы шутите: зачем вам мои бумаги?

— Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет?

Француз, всё ещё не веря своим ушам, протянул бумаги свои молодому офицеру, который быстро их пересмотрел.

— Ваш пашпорт… хорошо. Письмо рекомендательное, посмотрим. Свидетельство о рождении, прекрасно. Ну вот же вам ваши деньги, отправ-

ляйтесь назад. Прощайте.

Француз стоял как вкопанный. Офицер воротился.

*После того, как Петр I из своего заграничного путешествия привез иностранных специалистов, среди дворян сложилось мнение, что все иностранцы — это ученые люди, которым можно доверить образование своих детей. В итоге в Россию стали ехать все подряд и наниматься учителями, не имея для этого соответствующих компетенций. Такой «учитель» есть в «Недоросле» Д. И. Фонвизина (Вральман, который на самом деле кучер) и в «Капитанской дочке» (Бопре, который на самом деле парикмахер). В «Дубровском» произошла такая же ситуация, что указывает на невежество дворян: отличить учителя от проходимца никто не в состоянии.*

— Я было забыл самое важное. Дайте мне честное слово, что всё это останется между нами, честное ваше слово.

— Честное моё слово, — отвечал француз. — Но мои бумаги, что мне делать без них?

— В первом городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут нужные свидетельства. Прощайте, дай Бог вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром

здоровье.

Дубровский вышел из комнаты, сел в коляску и поскакал.

Смотритель смотрел в окошко и, когда коляска уехала, обратился к жене с восклицанием:

— Пахомовна, знаешь ли ты что? ведь это был Дубровский.

Смотрительша опрометью кинулась к окошку, но было уже поздно: Дубровский был уж далеко. Она принялась бранить мужа:

— Бога ты не боишься, Сидорыч, зачем ты не сказал мне того прежде, я бы хоть взглянула на Дубровского, а теперь жди, чтоб он опять завернул. Бессовестный ты, право, бессовестный!

Француз стоял как вкопанный. Договор с офицером, деньги, всё казалось ему сновидением. Но кипы ассигнаций были тут у него в кармане и красноречиво твердили ему о существенности удивительного происшествия.

Он решился нанять лошадей до города. Ямщик повёз его шагом, и ночью дотащился он до города.

Не доезжая до заставы, у которой вместо часового стояла развалившаяся будка, француз велел остановиться, вылез из брички и пошёл пешком, объяснив знаками ямщику, что бричку и чемо-

дан дарит ему на водку. Ямщик был в таком же изумлении от его щедрости, как и сам француз от предложения Дубровского. Но, заключив из того, что немец сошёл с ума, ямщик поблагодарил его усердным поклоном и, не рассудив за благо въехать в город, отправился в известное ему увеселительное заведение, коего хозяин был весьма ему знаком. Там провёл он целую ночь, а на другой день утром на порожней тройке отправился восвояси без брички и без чемодана, с пухлым лицом и красными глазами.

*Для простого народа все иностранцы походили на немцев, даже если это были французы, так как говорили на непонятном, неразборчивом языке.*

Дубровский, овладев бумагами француза, смело явился, как мы уже видели, к Троекурову и поселился в его доме. Каковы ни были его тайные намерения (мы их узнаем после), но в его поведении не оказалось ничего предосудительного. Правда, он мало занимался воспитанием маленького Саши, давал ему полную свободу повесничать и не строго взыскивал за уроки, задаваемые только для формы, зато с большим прилежанием следовал за музыкальными успехами своей ученицы и часто по целым часам сиживал с нею за фортепьяно. Все любили моло-

дого учителя — Кирила Петрович за его смелое проворство на охоте, Марья Кириловна за неограниченное усердие и робкую внимательность, Саша — за снисходительность к его шалостям, домашние — за доброту и за щедрость, по-видимому несовместную с его состоянием. Сам он, казалось, привязан был ко всему семейству и почитал уже себя членом оного.

Прошло около месяца от его вступления в звание учительское до достопамятного празднества, и никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. Во всё это время Дубровский не отлучался из Покровского, но слух о разбоях его не утихал благодаря изобретательному воображению сельских жителей, но могло статься и то, что шайка его продолжала свои действия и в отсутствие начальника.

Ночуя в одной комнате с человеком, коего мог он почесть личным своим врагом и одним из главных виновников его бедствия, Дубровский не мог удержаться от искушения.

Он знал о существовании сумки и решился ею завладеть. Мы видели, как изумил он бедного Антона Пафнутьича неожиданным своим пре-

вращением из учителей в разбойники.

В девять часов утра гости, ночевавшие в Покровском, собрались один за другим в гостиной, где кипел уже самовар, перед которым в утреннем платье сидела Марья Кириловна, а Кирила Петрович в байковом сюртуке и в туфлях выпивал свою широкую чашку, похожую на полоскательную. Последним явился Антон Пафнутьич; он был так бледен и казался так расстроен, что вид его всех поразил и что Кирила Петрович осведомился о его здоровии. Спицын отвечал безо всякого смысла и с ужасом поглядывал на учителя, который тут же сидел как ни в чём не бывало. Через несколько минут слуга вошёл и объявил Спицыну, что коляска его готова; Антон Пафнутьич спешил откланяться и, несмотря на увещания хозяина, вышел поспешно из комнаты и тотчас уехал. Не понимали, что с ним сделалось, и Кирила Петрович решил, что он объелся. После чаю и прощального завтрака прочие гости начали разъезжаться, вскоре Покровское опустело, и всё вошло в обыкновенный порядок.

## Глава XII

Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного. Жизнь обитателей Покровского была однообразна. Кирила Петрович ежедневно выезжал на охоту; чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марью Кириловну, особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце и признавалась, с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он с своей стороны не выходил из пределов почтения и строгой пристойности и тем успокоивал её гордость и боязливые сомнения. Она с большей и большей доверчивостию предавалась увлекательной привычке. Она скучала без Дефоржа, в его присутствии поминутно занималась им, обо всём хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она не была ещё влюблена, но при первом случайном препятствии или незапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в её сердце.

Однажды, пришед в залу, где ожидал её учитель, Марья Кириловна с изумлением заметила смущение на бледном его лице. Она открыла фор-

тепьяно, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, прервал урок и, закрывая ноты, подал ей украдкою записку. Марья Кириловна, не успев одуматься, приняла её и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского не было уже в зале. Марья Кириловна пошла в свою комнату, развернула записку и прочла следующее:

«Будьте сегодня в 7 часов в беседке у ручья. Мне необходимо с вами говорить».

Любопытство её было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чём она догадывалась, но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать таковое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить её руку. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном: каким образом примет она признание учителя, с аристократическим ли негодованием, с увещаниями ли дружбы, с весёлыми шутками или с безмолвным участием. Между тем она поминутно поглядывала на часы. Смерклось, подали свечи, Кирила Петрович сел играть в бостон с приезжими соседями. Столовые часы пробили третью четверть седьмого, и

Марья Кириловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад.

Ночь была темна, небо покрыто тучами, в двух шагах от себя нельзя было ничего видеть, но Марья Кириловна шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки; тут остановилась она, дабы перевести дух и явиться перед Деформжем с видом равнодушным и неторопливым. Но Деформ стоял уже перед нею.

— Благодарю вас, — сказал он ей тихим и печальным голосом, — что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если б вы на то не согласились.

Марья Кириловна отвечала заготовленною фразой:

— Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности.

Он молчал и, казалося, собирался с духом.

— Обстоятельства требуют… я должен вас оставить, — сказал он наконец, — вы скоро, может быть, услышите… Но перед разлукой я должен с вами сам объясниться…

Марья Кириловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию.

— Я не то, что вы предполагаете, — продолжал

он, потупя голову, — я не француз Дефорж, я Дубровский.

Марья Кириловна вскрикнула.

— Не бойтесь, ради Бога, вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надобно меня бояться — ни за себя, ни за него. Всё кончено. Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству, в ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце моё смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливый мыслию, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти три недели были для меня днями

счастия. Их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни… Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долее здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня… сей же час… Но прежде я должен был вам открыться, чтобы вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рождён был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда…

Тут раздался лёгкий свист, и Дубровский умолк. Он схватил её руку и прижал к пылающим устам. Свист повторился.

— Простите, — сказал Дубровский, — меня зовут, минута может погубить меня. — Он отошёл, Марья Кириловна стояла неподвижно, Дубровский воротился и снова взял её руку. — Если когда-нибудь, — сказал он ей нежным и трогательным голосом, — если когда-нибудь несчастие вас постигнет и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?

Марья Кириловна плакала молча. Свист раздался в третий раз.

— Вы меня губите! — закричал Дубровский. — Я

не оставлю вас, пока не дадите мне ответа, обещаетесь ли вы или нет?

— Обещаюсь, — прошептала бедная красавица.

Взволнованная свиданием с Дубровским, Марья Кириловна возвращалась из саду. Ей показалось, что все люди разбегались, дом был в движении, на дворе было много народа, у крыльца стояла тройка, издали услышала она голос Кирила Петровича и спешила войти в комнаты, опасаясь, чтоб отсутствие её не было замечено. В зале встретил её Кирила Петрович, гости окружали исправника, нашего знакомца, и осыпали его вопросами. Исправник в дорожном платье, вооружённый с ног до головы, отвечал им с видом таинственным и суетливым.

— Где ты была, Маша, — спросил Кирила Петрович, — не встретила ли ты m-r Деформа?

Маша насилу могла отвечать отрицательно.

— Вообрази, — продолжал Кирила Петрович, — исправник приехал его схватить и уверяет меня, что это сам Дубровский.

— Все приметы, ваше превосходительство, — сказал почтительно исправник.

— Эх, братец, — прервал Кирила Петрович, — убирайся, знаешь куда, со своими приметами. Я тебе моего француза не выдам, покамест сам не

разберу дела. Как можно верить на слово Антону Пафнутьичу, трусу и лгуну: ему пригрезилось, что учитель хотел ограбить его. Зачем он в то же утро не сказал мне о том ни слова?

— Француз застращал его, ваше превосходительство, — отвечал исправник, — и взял с него клятву молчать…

— Враньё, — решил Кирила Петрович, — сейчас я всё выведу на чистую воду. Где же учитель? — спросил он у вошедшего слуги.

— Нигде не найдут-с, — отвечал слуга.

— Так сыскать его, — закричал Троекуров, начинающий сумневаться. — Покажи мне твои хвалёные приметы, — сказал он исправнику, который тотчас и подал ему бумагу. — Гм, гм, двадцать три года… Оно так, да это ещё ничего не доказывает. Что же учитель?

— Не найдут-с, — был опять ответ. Кирила Петрович начинал беспокоиться, Марья Кириловна была ни жива ни мертва.

— Ты бледна, Маша, — заметил ей отец, — тебя перепугали.

— Нет, папенька, — отвечала Маша, — у меня голова болит.

— Поди, Маша, в свою комнату и не беспокойся.

Маша поцеловала у него руку и ушла скорее в свою комнату, там она бросилась на постелю и зарыдала в истерическом припадке. Служанки сбежались, раздели её, насилу-насилу успели её успокоить холодной водой и всевозможными спиртами, её уложили, и она впала в усыпление.

Между тем француза не находили. Кирила Петрович ходил взад и вперёд по зале, грозно насвистывая «Гром победы раздавайся». Гости шептались между собою, исправник казался в дураках, француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, быв предупреждён. Но кем и как? это оставалось тайною.

Било одиннадцать, и никто не думал о сне. Наконец Кирила Петрович сказал сердито исправнику:

— Ну что? ведь не до свету же тебе здесь оставаться, дом мой не харчевня, не с твоим проворством, братец, поймать Дубровского, если уж это Дубровский. Отправляйся-ка восвояси да вперёд будь расторопнее. Да и вам пора домой, — продолжал он, обратясь к гостям. — Велите закладывать, а я хочу спать.

Так немилостиво расстался Троекуров со своими гостями!

## Глава XIII

Прошло несколько времени без всякого замечательного случая. Но в начале следующего лета произошло много перемен в семейном быту Кирила Петровича.

В тридцати верстах от него находилось богатое поместие князя Верейского. Князь долгое время находился в чужих краях, всем имением его управлял отставной майор, и никакого сношения не существовало между Покровским и Арбатовым. Но в конце мая месяца князь возвратился из-за границы и приехал в свою деревню, которой отроду ещё не видал. Привыкнув к рассеянности, он не мог вынести уединения и на третий день по своём приезде отправился обедать к Троекурову, с которым был некогда знаком.

Князю было около пятидесяти лет, но он казался гораздо старее. Излишества всякого рода изнурили его здоровие и положили на нём свою неизгладимую печать. Несмотря на то, наружность его была приятна, замечательна, а привычка быть всегда в обществе придавала ему некоторую любезность, особенно с женщинами. Он имел непрестанную нужду в рассеянии

и непрестанно скучал. Кирила Петрович был чрезвычайно доволен его посещением, приняв оное знаком уважения от человека, знающего свет; он по обыкновению своему стал угощать его смотром своих заведений и повёл на псарный двор. Но князь чуть не задохся в собачьей атмосфере и спешил выйти вон, зажимая нос платком, опрысканным духами. Старинный сад с его стрижеными липами, четвероугольным прудом и правильными аллеями ему не понравился; он любил английские сады и так называемую природу, но хвалил и восхищался; слуга пришёл доложить, что кушание поставлено. Они пошли обедать. Князь прихрамывал, устав от своей прогулки и уже раскаиваясь в своём посещении.

Но в зале встретила их Марья Кириловна, и старый волокита был поражён её красотой. Троекуров посадил гостя подле её. Князь был оживлён её присутствием, был весел и успел несколько раз привлечь её внимание любопытными своими рассказами. После обеда Кирила Петрович предложил ехать верхом, но князь извинился, указывая на свои бархатные сапоги и шутя над своею подагрой; он предпочёл прогулку в линейке, с тем чтоб не разлучаться с милою своей соседкою. Линейку заложили. Старики и

красавица сели втроём и поехали. Разговор не прерывался. Марья Кириловна с удовольствием слушала льстивые и весёлые приветствия светского человека, как вдруг Верейский, обратясь к Кирилу Петровичу, спросил у него, что значит это погорелое строение и ему ли оно принадлежит?.. Кирила Петрович нахмурился; воспоминания, возбуждаемые в нём погорелой усадьбою, были ему неприятны. Он отвечал, что земля теперь его и что прежде принадлежала она Дубровскому.

— Дубровскому, — повторил Верейский, — как, этому славному разбойнику?..

— Отцу его, — отвечал Троекуров, — да и отец-то был порядочный разбойник.

— Куда же девался наш Ринальдо? жив ли он, схвачен ли он?

*Ринальдо — персонаж одноименной оперы «Ринальдо» Георга Фридриха Генделя, написанной в 1711 г. Главный герой переживает множество разных приключений, прежде чем спасает похищенную злой волшебницей возлюбленную, которая обещана ему в жены. Опера была очень популярна, а герои стали прообразами классических романтических персонажей.*

— И жив, и на воле, и покамест у нас будут исправники заодно с ворами, до тех пор не будет он

пойман; кстати, князь, Дубровский побывал ведь у тебя в Арбатове?

— Да, прошлого году он, кажется, что-то сжёг или разграбил… Не правда ли, Марья Кириловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим романтическим героем?

— Чего любопытно! — сказал Троекуров, — она знакома с ним: он целые три недели учил её музыке, да слава Богу не взял ничего за уроки. — Тут Кирила Петрович начал рассказывать повесть о своём французе-учителе.

Марья Кириловна сидела как на иголках. Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашёл всё это очень странным и переменил разговор. Возвратясь, он велел подавать свою карету и, несмотря на усильные просьбы Кирила Петровича остаться ночевать, уехал тотчас после чаю. Но прежде просил Кирила Петровича приехать к нему в гости с Марьей Кириловной, и гордый Троекуров обещался, ибо, взяв в уважение княжеское достоинство, две звезды и три тысячи душ родового имения, он до некоторой степени почитал князя Верейского себе равным.

Два дня спустя после сего посещения Кирила Петрович отправился с дочерью в гости к князю Верейскому. Подъезжая к Арбатову, он не мог

не любоваться чистыми и весёлыми избами крестьян и каменным господским домом, выстроенным во вкусе английских замков. Перед домом расстилался густо-зелёный луг, на коем паслись швейцарские коровы, звеня своими колокольчиками. Пространный парк окружал дом со всех сторон. Хозяин встретил гостей у крыльца и подал руку молодой красавице. Они вошли в великолепную залу, где стол был накрыт на три прибора. Князь подвёл гостей к окну, и им открылся прелестный вид. Волга протекала перед окнами, по ней шли нагруженные барки под натянутыми парусами и мелькали рыбачьи лодки, столь выразительно прозванные душегубками. За рекою тянулись холмы и поля, несколько деревень оживляли окрестность. Потом они занялись рассмотрением галереи картин, купленных князем в чужих краях. Князь объяснял Марье Кириловне их различное содержание, историю живописцев, указывал на достоинства и недостатки. Он говорил о картинах не на условленном языке педантического знатока, но с чувством и воображением. Марья Кириловна слушала его с удовольствием. Пошли за стол. Троекуров отдал полную справедливость винам своего Амфитриона и искусству его повара, а Марья Кириловна

не чувствовала ни малейшего замешательства или принуждения в беседе с человеком, которого видела она только во второй раз отроду. После обеда хозяин предложил гостям пойти в сад. Они пили кофей в беседке на берегу широкого озера, усеянного островами. Вдруг раздалась духовая музыка, и шестивёсельная лодка причалила к самой беседке. Они поехали по озеру, около островов, посещали некоторые из них, на одном находили мраморную статую, на другом уединённую пещеру, на третьем памятник с таинственной надписью, возбуждавшей в Марье Кириловне девическое любопытство, не вполне удовлетворённое учтивыми недомолвками князя; время прошло незаметно, начало смеркаться. Князь под предлогом свежести и росы спешил возвратиться домой; самовар их ожидал. Князь просил Марью Кириловну хозяйничать в доме старого холостяка. Она разливала чай, слушая неистощимые рассказы любезного говоруна; вдруг раздался выстрел, и ракетка осветила небо. Князь подал Марье Кириловне шаль и позвал её и Троекурова на балкон. Перед домом в темноте разноцветные огни вспыхнули, завертелись, поднялись вверх колосьями, пальмами, фонтанами, посыпались дождём, звёздами, угасали и снова

вспыхивали. Марья Кириловна веселилась, как дитя. Князь Верейский радовался её восхищению, а Троекуров был чрезвычайно им доволен, ибо принимал tous les frais[83] князя как знаки уважения и желания ему угодить.

*Сам князь Верейский подчеркнуто стар и измотан жизнью и всевозможными пороками, но в обществе, которое ценит лишь богатство и знатность, больше обращают внимание не на характер человека, а на его финансовое положение. У него «три тысячи душ родового имения», т. е. три тысячи крепостных крестьян. Эта цифра включает в себя только совершеннолетних мужчин, то есть на самом деле крепостных у князя в полтора-два раза больше. У Дубровского-старшего было всего 80 душ — разница колоссальная.*

Ужин в своём достоинстве ничем не уступал обеду. Гости отправились в комнаты, для них отведённые, и на другой день поутру расстались с любезным хозяином, дав друг другу обещание вскоре снова увидеться.

---

**[83] Примечания: 83**
Все расходы *(фр.)*.

## Глава XIV

Марья Кириловна сидела в своей комнате, вышивая в пяльцах, перед открытым окошком. Она не путалась шелками, подобно любовнице Конрада, которая в любовной рассеянности вышила розу зелёным шёлком. Под её иглой канва повторяла безошибочно узоры подлинника, несмотря на то её мысли не следовали за работой, они были далеко.

Вдруг в окошко тихонько протянулась рука, кто-то положил на пяльцы письмо и скрылся, прежде чем Марья Кириловна успела образумиться. В это самое время слуга к ней вошёл и позвал её к Кирилу Петровичу. Она с трепетом спрятала письмо за косынку и поспешила к отцу в кабинет.

*Конрад — герой поэмы Адама Мицкевича «Конрад Валленрод», который вступил в Тевтонский орден, чтобы отомстить за свою разоренную родину. Его возлюбленная, задумавшись, вышила розу зеленым шелком, а листочки — красным. Пушкин намекает, что в отличие от Альдоны, возлюбленной Конрада, Маша не растеряла трезвости мышления, была задумчива, но спокойна.*

*Это подсказывает читателю, что девушка все же не влюблена, хотя мысли о поклоннике ее занимают.*

Кирила Петрович был не один. Князь Верейский сидел у него. При появлении Марьи Кириловны князь встал и молча поклонился ей с замешательством для него необыкновенным.

— Подойди сюда, Маша, — сказал Кирила Петрович, — скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует. Вот тебе жених, князь тебя сватает.

Маша остолбенела, смертная бледность покрыла её лицо. Она молчала. Князь к ней подошёл, взял её руку и с видом тронутым спросил: согласна ли она сделать его счастие. Маша молчала.

— Согласна, конечно, согласна, — сказал Кирила Петрович, — но знаешь, князь: девушке трудно выговорить это слово. Ну, дети, поцелуйтесь и будьте счастливы.

Маша стояла неподвижно, старый князь поцеловал её руку, вдруг слёзы побежали по её бледному лицу. Князь слегка нахмурился.

*Комичность высказывания Кирилы Петровича подчеркивает драматичность сложившейся ситуации: «Ну, дети, поцелуйтесь…» сказано человеку, который по возрасту ближе к самому Кириле Петровичу, нежели к Маше. А неравность*

*этого брака не только по годам, но и по складу характеров не смущает отца девушки.*

— Пошла, пошла, пошла, — сказал Кирила Петрович, — осуши свои слёзы и воротись к нам веселёшенька. Они все плачут при помолвке, — продолжал он, обратясь к Верейскому, — это у них уж так заведено… Теперь, князь, поговорим о деле, то есть о приданом.

Марья Кириловна жадно воспользовалась позволением удалиться. Она побежала в свою комнату, заперлась и дала волю своим слезам, воображая себя женою старого князя; он вдруг показался ей отвратительным и ненавистным… брак пугал её как плаха, как могила… «Нет, нет, — повторяла она в отчаянии, — лучше умереть, лучше в монастырь, лучше пойду за Дубровского». Тут она вспомнила о письме и с жадностию бросилась его читать, предчувствуя, что оно было от него. В самом деле оно было писано им и заключало только следующие слова:

«Вечером в 10 час. на прежнем месте».

## Глава XV

Луна сияла, июльская ночь была тиха, изредка

подымался ветерок, и лёгкий шорох пробегал по всему саду.

Как лёгкая тень молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания. Ещё никого не было видно, вдруг из-за беседки очутился Дубровский перед нею.

— Я всё знаю, — сказал он ей тихим и печальным голосом. — Вспомните ваше обещание.

— Вы предлагаете мне своё покровительство, — отвечала Маша, — но не сердитесь: оно пугает меня. Каким образом окажете вы мне помочь?

— Я бы мог избавить вас от ненавистного человека.

— Ради Бога, не трогайте его, не смейте его тронуть, если вы меня любите; я не хочу быть виною какого-нибудь ужаса…

— Я не трону его, воля ваша для меня священна. Вам обязан он жизнию. Никогда злодейство не будет совершено во имя ваше. Вы должны быть чисты даже и в моих преступлениях. Но как же спасу вас от жестокого отца?

— Ещё есть надежда. Я надеюсь тронуть его моими слезами и отчаянием. Он упрям, но он так меня любит.

— Не надейтесь по-пустому: в этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и

отвращение, общее всем молодым девушкам, когда идут они замуж не по страсти, а из благоразумного расчёта; что, если возьмёт он себе в голову сделать счастие ваше вопреки вас самих; если насильно повезут вас под венец, чтоб навеки предать судьбу вашу во власть старого мужа…

— Тогда, тогда делать нечего, явитесь за мною, я буду вашей женою.

Дубровский затрепетал, бледное лицо покрылось багровым румянцем и в ту же минуту стало бледнее прежнего. Он долго молчал, потупя голову.

— Соберитесь с всеми силами души, умоляйте отца, бросьтесь к его ногам, представьте ему весь ужас будущего, вашу молодость, увядающую близ хилого и развратного старика, решитесь на жестокое объяснение: скажите, что если он останется неумолим, то… то вы найдёте ужасную защиту… скажите, что богатство не доставит вам и одной минуты счастия; роскошь утешает одну бедность и то с непривычки на одно мгновение; не отставайте от него, не пугайтесь ни его гнева, ни угроз, пока останется хоть тень надежды, ради Бога, не отставайте. Если же не будет уже другого средства…

Тут Дубровский закрыл лицо руками, он, каза-

лось, задыхался, Маша плакала…

— Бедная, бедная моя участь, — сказал он, горько вздохнув. — За вас отдал бы я жизнь, видеть вас издали, коснуться руки вашей было для меня упоением. И когда открывается для меня возможность прижать вас к волнуемому сердцу и сказать: ангел, умрём! бедный, я должен остерегаться от блаженства, я должен отдалять его всеми силами… Я не смею пасть к вашим ногам, благодарить небо за непонятную незаслуженную награду. О, как должен я ненавидеть того, но чувствую, теперь в сердце моём нет места ненависти.

*Примечательно, что Маша Троекурова не рассматривала возможности выйти за Дубровского. Ее согласие быть его женой — решение отчаявшегося человека, а не влюбленной девушки. Сомнения Владимира, нежелание обрекать на позор свою возлюбленную, доказывают, что чувство его благородно: он не требует взаимности, не готов обречь девушку на ссору с отцом и вечные скитания, если есть возможность избежать подобной участи даже несмотря на то, что он любит Машу. Это все отличает роман от типичных сентиментальных историй, в которых чувства девушки и юноши всегда взаимны и вместе им*

*мешают быть лишь внешние обстоятельства, которые они пытаются преодолеть, чтобы соединиться узами брака. Пушкин показывает, что репутация и честное имя стоят на первом месте, и Маша не дала развиться чувству именно потому, что понимала его бесперспективность.*

Он тихо обнял стройный её стан и тихо привлёк её к своему сердцу. Доверчиво склонила она голову на плечо молодого разбойника. Оба молчали.

Время летело.

— Пора, — сказала наконец Маша. Дубровский как будто очнулся от усыпления. Он взял её руку и надел ей на палец кольцо.

— Если решитесь прибегнуть ко мне, — сказал он, — то принесите кольцо сюда, опустите его в дупло этого дуба, я буду знать, что делать.

Дубровский поцеловал её руку и скрылся между деревьями.

## Глава XVI

Сватовство князя Верейского не было уже тайною для соседства. Кирила Петрович принимал поздравления, свадьба готовилась. Маша день ото дня отлагала решительное объявление. Меж-

ду тем обращение её со старым женихом было холодно и принуждённо. Князь о том не заботился. Он о любви не хлопотал, довольный её безмолвным согласием.

Но время шло. Маша наконец решилась действовать и написала письмо князю Верейскому; она старалась возбудить в его сердце чувство великодушия, откровенно признавалась, что не имела к нему ни малейшей привязанности, умоляла его отказаться от её руки и самому защитить её от власти родителя. Она тихонько вручила письмо князю Верейскому, тот прочёл его наедине и нимало не был тронут откровенностию своей невесты. Напротив, он увидел необходимость ускорить свадьбу и для того почёл нужным показать письмо будущему тестю.

Кирила Петрович взбесился; насилу князь мог уговорить его не показывать Маше и виду, что он уведомлён о её письме. Кирила Петрович согласился ей о том не говорить, но решился не тратить времени и назначил быть свадьбе на другой же день. Князь нашёл сие весьма благоразумным, пошёл к своей невесте, сказал ей, что письмо очень его опечалило, но что он надеется со временем заслужить её привязанность, что мысль её лишиться слишком для него тяжела и

что он не в силах согласиться на свой смертный приговор. За сим он почтительно поцеловал её руку и уехал, не сказав ей ни слова о решении Кирила Петровича.

Но едва успел он выехать со двора, как отец её вошёл и напрямик велел ей быть готовой на завтрашний день. Марья Кириловна, уже взволнованная объяснением князя Верейского, залилась слезами и бросилась к ногам отца.

— Папенька, — закричала она жалобным голосом, — папенька, не губите меня, я не люблю князя, я не хочу быть его женою…

— Это что значит, — сказал грозно Кирила Петрович, — до сих пор ты молчала и была согласна, а теперь, когда всё решено, ты вздумала капризничать и отрекаться. Не изволь дурачиться; этим со мною ты ничего не выиграешь.

— Не губите меня, — повторяла бедная Маша, — за что гоните меня от себя прочь и отдаёте человеку нелюбимому? разве я вам надоела? я хочу остаться с вами по-прежнему. Папенька, вам без меня будет грустно, ещё грустнее, когда подумаете, что я несчастлива, папенька: не принуждайте меня, я не хочу идти замуж…

Кирила Петрович был тронут, но скрыл своё смущение и, оттолкнув её, сказал сурово:

— Всё это вздор, слышишь ли. Я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счастия. Слёзы тебе не помогут, послезавтра будет твоя свадьба.

— Послезавтра, — вскрикнула Маша, — Боже мой! Нет, нет, невозможно, этому не быть. Папенька, послушайте, если уже вы решились погубить меня, то я найду защитника, о котором вы и не думаете, вы увидите, вы ужаснётесь, до чего вы меня довели.

— Что? что? — сказал Троекуров, — угрозы! мне угрозы, дерзкая девчонка! Да знаешь ли ты, что я с тобою сделаю то, чего ты и не воображаешь. Ты смеешь меня стращать защитником. Посмотрим, кто будет этот защитник.

— Владимир Дубровский, — отвечала Маша в отчаянии.

Кирила Петрович подумал, что она сошла с ума, и глядел на неё с изумлением.

— Добро, — сказал он ей после некоторого молчания, — жди себе кого хочешь в избавители, а покамест сиди в этой комнате, ты из неё не выйдешь до самой свадьбы. — С этим словом Кирила Петрович вышел и запер за собою двери.

Долго плакала бедная девушка, воображая всё, что ожидало её, но бурное объяснение облегчило её душу, и она спокойнее могла рассуждать о

своей участи и о том, что надлежало ей делать. Главное было для неё избавиться от ненавистного брака; участь супруги разбойника казалась для неё раем в сравнении со жребием, ей уготовленным. Она взглянула на кольцо, оставленное ей Дубровским. Пламенно желала она с ним увидеться наедине и ещё раз перед решительной минутой долго посоветоваться. Предчувствие сказывало ей, что вечером найдёт она Дубровского в саду близ беседки; она решилась пойти ожидать его там, как только станет смеркаться. Смеркалось. Маша приготовилась, но дверь её заперта на ключ. Горничная отвечала ей из-за двери, что Кирила Петрович не приказал её выпускать. Она была под арестом. Глубоко оскорблённая, она села под окошко и до глубокой ночи сидела не раздеваясь, неподвижно глядя на тёмное небо. На рассвете она задремала, но тонкий сон её был встревожен печальными видениями, и лучи восходящего солнца уже разбудили её.

*Даже в таких условиях Маша не поддается эмоциям и, взвесив все за и против, решает посоветоваться с Дубровским, хотя, казалось бы, уже и так понятно: нужно бежать, другого выхода нет. Но хоть Маша оказывается в безвыходном положении (либо стать женой разбойника, либо*

*— мерзкого старика), Пушкин оставляет главный вопрос без ответа: что лучше — поддаться эмоциям и сбежать без всяких сомнений или все же рассуждать рационально и отстраненно.*

## Глава XVII

Она проснулась, и с первой мыслью представился ей весь ужас её положения. Она позвонила, девка вошла и на вопросы её отвечала, что Кирила Петрович вечером ездил в Арбатово и возвратился поздно, что он дал строгое приказание не выпускать её из её комнаты и смотреть за тем, чтоб никто с нею не говорил, что, впрочем, не видно никаких особенных приготовлений к свадьбе, кроме того, что велено было попу не отлучаться из деревни ни под каким предлогом. После сих известий девка оставила Марью Кириловну и снова заперла двери.

Её слова ожесточили молодую затворницу, голова её кипела, кровь волновалась, она решилась дать знать обо всём Дубровскому и стала искать способа отправить кольцо в дупло заветного дуба; в это время камушек ударился в окно её, стекло зазвенело, и Марья Кириловна взглянула на двор и увидела маленького Сашу, делающего

ей тайные знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему. Она отворила окно.

— Здравствуй, Саша, — сказала она, — зачем ты меня зовёшь?

— Я пришёл, сестрица, узнать от вас, не надобно ли вам чего-нибудь. Папенька сердит и запретил всему дому вас слушаться, но велите мне сделать, что вам угодно, и я для вас всё сделаю.

— Спасибо, милый мой Сашенька, слушай: ты знаешь старый дуб с дуплом, что у беседки?

— Знаю, сестрица.

— Так если ты меня любишь, сбегай туда поскорей и положи в дупло вот это кольцо, да смотри же, чтоб никто тебя не видал.

С этим словом она бросила ему кольцо и заперла окошко.

Мальчик поднял кольцо, во весь дух пустился бежать и в три минуты очутился у заветного дерева. Тут он остановился задыхаясь, оглянулся во все стороны и положил колечко в дупло. Окончив дело благополучно, хотел он тот же час донести о том Марье Кириловне, как вдруг рыжий и косой оборванный мальчишка мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло. Саша быстрее белки бросился к нему и зацепился за его обеими руками.

— Что ты здесь делаешь? — сказал он грозно.

— Тебе какое дело? — отвечал мальчишка, стараясь от него освободиться.

— Оставь это кольцо, рыжий заяц, — кричал Саша, — или я проучу тебя по-свойски.

Вместо ответа тот ударил его кулаком по лицу, но Саша его не выпустил и закричал во всё горло:

— Воры, воры! сюда, сюда…

Мальчишка силился от него отделаться. Он был, по-видимому, двумя годами старее Саши и гораздо его сильнее, но Саша был увёртливее. Они боролись несколько минут, наконец рыжий мальчик одолел. Он повалил Сашу наземь и схватил его за горло.

Но в это время сильная рука вцепилась в его рыжие и щетинистые волосы, и садовник Степан приподнял его на пол-аршина от земли…

— Ах ты, рыжая бестия, — говорил садовник, — да как ты смеешь бить маленького барина…

Саша успел вскочить и оправиться.

— Ты меня схватил под силки, — сказал он, — а то бы никогда меня не повалил. Отдай сейчас кольцо и убирайся.

— Как не так, — отвечал рыжий и, вдруг перевернувшись на одном месте, освободил свои

щетины от руки Степановой. Тут он пустился было бежать, но Саша догнал его, толкнул в спину, и мальчишка упал со всех ног. Садовник снова его схватил и связал кушаком.

— Отдай кольцо! — кричал Саша.

— Погоди, барин, — сказал Степан, — мы сведём его на расправу к приказчику.

Садовник повёл пленника на барский двор, а Саша его сопровождал, с беспокойством поглядывая на свои шаровары, разорванные и замаранные зеленью. Вдруг все трое очутились перед Кирилом Петровичем, идущим осматривать свою конюшню.

— Это что? — спросил он Степана.

Степан в коротких словах описал всё происшествие. Кирила Петрович выслушал его со вниманием.

— Ты, повеса, — сказал он, обратясь к Саше, — за что ты с ним связался?

— Он украл из дупла кольцо, папенька, прикажите отдать кольцо.

— Какое кольцо, из какого дупла?

— Да мне Марья Кириловна… да то кольцо…

Саша смутился, спутался. Кирила Петрович нахмурился и сказал, качая головою:

— Тут замешалась Марья Кириловна. Призна-

вайся во всём, или так отдеру тебя розгою, что ты и своих не узнаешь.

— Ей-богу, папенька, я, папенька… Мне Марья Кириловна ничего не приказывала, папенька.

— Степан, ступай-ка да срежь мне хорошенькую свежую берёзовую розгу…

— Постойте, папенька, я всё вам расскажу. Я сегодня бегал по двору, а сестрица Марья Кириловна открыла окошко, и я подбежал, и сестрица не нарочно уронила кольцо, и я спрятал его в дупло, и… и… этот рыжий мальчик хотел кольцо украсть…

— Не нарочно уронила, а ты хотел спрятать… Степан, ступай за розгами.

— Папенька, погодите, я всё расскажу. Сестрица Марья Кириловна велела мне сбегать к дубу и положить кольцо в дупло, я и сбегал и положил кольцо, а этот скверный мальчик…

Кирила Петрович обратился к скверному мальчику и спросил его грозно:

— Чей ты?

— Я дворовый человек господ Дубровских, — отвечал рыжий мальчик.

Лицо Кирила Петровича омрачилось.

— Ты, кажется, меня господином не признаёшь, добро, — отвечал он. — А что ты делал в моём

саду?

— Малину крал, — отвечал мальчик с большим равнодушием.

— Ага, слуга в барина: каков поп, таков и приход, а малина разве растёт у меня на дубах?

Мальчик ничего не отвечал.

— Папенька, прикажите ему отдать кольцо, — сказал Саша.

— Молчи, Александр, — отвечал Кирила Петрович, — не забудь, что я собираюсь с тобою разделаться. Ступай в свою комнату. Ты, косой, ты мне кажешься малый не промах. Отдай кольцо и ступай домой.

Мальчик разжал кулак и показал, что в его руке не было ничего.

— Если ты мне во всём признаешься, так я тебя не высеку, а дам ещё пятак на орехи. Не то я с тобою сделаю то, чего ты не ожидаешь. Ну!

*Интересно, как показаны два мальчика, принадлежащие к разным сословиям. Саша, изнеженный барин, мало того что помешал вовремя доставить послание Маши, так ещё и выдал ее секрет, как только ему пригрозили розгами, то есть просто струсил. Митя, крепостной мальчишка, равнодушно реагирует на угрозы высечь его, демонстрируя невероятную преданность своему*

*хозяину. Разница в их поведении говорит о том, как сильно отличались судьбы и условия жизни детей в царской России.*

Мальчик не отвечал ни слова и стоял, потупя голову и приняв на себя вид настоящего дурачка.

— Добро, — сказал Кирила Петрович, — запереть его куда-нибудь да смотреть, чтоб он не убежал, или со всего дома шкуру спущу.

Степан отвёл мальчишку на голубятню, запер его там и приставил смотреть за ним старую птичницу Агафию.

— Сейчас ехать в город за исправником, — сказал Кирила Петрович, проводив мальчика глазами, — да как можно скорее.

«Тут нет никакого сомнения. Она сохранила сношения с проклятым Дубровским. Но ужели и в самом деле она звала его на помощь? — думал Кирила Петрович, расхаживая по комнате и сердито насвистывая „Гром победы“. — Может быть, я наконец нашёл на его горячие следы, и он от нас не увернётся. Мы воспользуемся этим случаем. Чу! колокольчик, слава Богу, это исправник».

— Гей, привести сюда мальчишку пойманного.

Между тем тележка въехала на двор, и знакомый уже нам исправник вошёл в комнату весь запылённый.

— Славная весть, — сказал ему Кирила Петрович, — я поймал Дубровского.

— Слава Богу, ваше превосходительство, — сказал исправник с видом обрадованным, — где же он?

— То есть не Дубровского, а одного из его шайки. Сейчас его приведут. Он пособит нам поймать самого атамана. Вот его и привели.

Исправник, ожидавший грозного разбойника, был изумлён, увидев тринадцатилетнего мальчика, довольно слабой наружности. Он с недоумением обратился к Кирилу Петровичу и ждал объяснения. Кирила Петрович стал тут же рассказывать утреннее происшествие, не упоминая, однако ж, о Марье Кириловне.

Исправник выслушал его со вниманием, поминутно взглядывая на маленького негодяя, который, прикинувшись дурачком, казалось, не обращал никакого внимания на всё, что делалось около него.

— Позвольте, ваше превосходительство, переговорить с вами наедине, — сказал наконец исправник.

Кирила Петрович повёл его в другую комнату и запер за собою дверь.

Через полчаса они вышли опять в залу, где

невольник ожидал решения своей участи.

— Барин хотел, — сказал ему исправник, — посадить тебя в городской острог, выстегать плетьми и сослать потом на поселение, но я вступился за тебя и выпросил тебе прощение… Развязать его.

Мальчика развязали.

— Благодари же барина, — сказал исправник. Мальчик подошёл к Кирилу Петровичу и поцеловал у него руку.

— Ступай себе домой, — сказал ему Кирила Петрович, — да вперёд не крадь малины по дуплам.

Мальчик вышел, весело спрыгнул с крыльца и пустился бегом, не оглядываясь, через поле в Кистенёвку. Добежав до деревни, он остановился у полуразвалившейся избушки, первой с края, и постучал в окошко; окошко поднялось, и старуха показалась.

— Бабушка, хлеба, — сказал мальчик, — я с утра ничего не ел, умираю с голоду.

— Ах, это ты, Митя, да где ж ты пропадал, бесёнок, — отвечала старуха.

— После расскажу, бабушка, ради Бога хлеба.

— Да войди ж в избу.

— Некогда, бабушка, мне надо сбегать ещё в одно место. Хлеба, ради Христа, хлеба.

— Экой непосед, — проворчала старуха, — на вот тебе ломотик, — и сунула в окошко ломоть чёрного хлеба.

Мальчик жадно его прикусил и жуя мигом отправился далее.

Начинало смеркаться. Митя пробирался овинами и огородами в Кистенёвскую рощу. Дошедши до двух сосен, стоящих передовыми стражами рощи, он остановился, оглянулся во все стороны, свистнул свистом пронзительным и отрывистым и стал слушать; лёгкий и продолжительный свист послышался ему в ответ, кто-то вышел из рощи и приблизился к нему.

## Глава XVIII

Кирила Петрович ходил взад и вперёд по зале, громче обыкновенного насвистывая свою песню; весь дом был в движении, слуги бегали, девки суетились, в сарае кучера закладывали карету, на дворе толпился народ. В уборной барышни перед зеркалом дама, окружённая служанками, убирала бледную, неподвижную Марью Кириловну, голова её томно клонилась под тяжестью бриллиантов, она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука укалывала её, но молчала,

бессмысленно глядясь в зеркало.

— Скоро ли? — раздался у дверей голос Кирила Петровича.

— Сию минуту, — отвечала дама. — Марья Кириловна, встаньте, посмотритесь, хорошо ли?

Марья Кириловна встала и не отвечала ничего. Двери отворились.

— Невеста готова, — сказала дама Кирилу Петровичу, — прикажите садиться в карету.

— С Богом, — отвечал Кирила Петрович и, взяв со стола образ, — подойди ко мне, Маша, — сказал он ей тронутым голосом, — благословляю тебя…

Бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала.

— Папенька… папенька… — говорила она в слезах, и голос её замирал. Кирила Петрович спешил её благословить, её подняли и почти понесли в карету. С нею села посажёная мать и одна из служанок. Они поехали в церковь. Там жених уж их ожидал. Он вышел навстречу невесты и был поражён её бледностию и странным видом. Они вместе вошли в холодную, пустую церковь; за ними заперли двери. Священник вышел из алтаря и тотчас же начал. Марья Кириловна ничего не видала, ничего не слыхала, думала об одном, с самого утра она ждала Дубровского, надежда ни на минуту её не покидала, но, когда священник

обратился к ней с обычными вопросами, она содрогнулась и обмерла, но ещё медлила, ещё ожидала; священник, не дождавшись её ответа, произнёс невозвратимые слова.

Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, она слышала весёлые поздравления присутствующих и всё ещё не могла поверить, что жизнь её была навеки окована, что Дубровский не прилетел освободить её. Князь обратился к ней с ласковыми словами, она их не поняла, они вышли из церкви, на паперти толпились крестьяне из Покровского. Взор её быстро их обежал и снова оказал прежнюю бесчувственность. Молодые сели вместе в карету и поехали в Арбатово; туда уже отправился Кирила Петрович, дабы встретить там молодых. Наедине с молодою женой князь нимало не был смущён её холодным видом. Он не стал докучать её приторными изъяснениями и смешными восторгами, слова его были просты и не требовали ответов. Таким образом проехали они около десяти вёрст, лошади неслись быстро по кочкам просёлочной дороги, и карета почти не качалась на своих английских рессорах. Вдруг раздались крики погони, карета остановилась, толпа вооружённых людей окружила её, и человек в полумаске,

отворив дверцы со стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей:

— Вы свободны, выходите.

— Что это значит, — закричал князь, — кто ты такой?..

— Это Дубровский, — сказала княгиня.

*Пушкин довольно точно показывает процедуру заключения неравного или нежеланного брака. Девушек никто не спрашивал. Иногда невеста и вовсе могла кричать, не соглашаться или пребывать без сознания, на это никто не обращал внимания: обряд все равно проводился, священник проговаривал необходимые для венчания слова и брак считался законным.*

Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула и с ужасом закрыла лицо обеими руками. Дубровский был ранен в плечо, кровь показалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет, но ему не дали времени выстрелить, дверцы растворились, и несколько сильных рук вытащили его из кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи.

— Не трогать его! — закричал Дубровский, и мрачные его сообщники отступили. — Вы сво-

бодны, — продолжал Дубровский, обращаясь к бледной княгине.

— Нет, — отвечала она. — Поздно, я обвенчана, я жена князя Верейского.

— Что вы говорите, — закричал с отчаяния Дубровский, — нет, вы не жена его, вы были приневолены, вы никогда не могли согласиться…

— Я согласилась, я дала клятву, — возразила она с твёрдостию, — князь мой муж, прикажите освободить его и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас до последней минуты… Но теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите нас.

*Читатель конечно же вспомнит похожую сцену из «Евгения Онегина», написанного тремя годами ранее — финальное объяснение Онегина и Татьяны. Уверенное «но я другому отдана; я буду век ему верна» было идейной характеристикой русской женщины, воспитанной по правилам христианской добродетели: раз уж дала клятву, будь ей верна до конца, раз уж стала женой, теперь всегда поддерживаешь мужа. Пушкин углубляет понятие добродетельной преданности: Марья Кириловна остается верной нелюбимому мужу, потому что связана с ним перед Богом.*

Но Дубровский уже её не слышал, боль раны и сильные волнения души лишили его силы.

Он упал у колеса, разбойники окружили его. Он успел сказать им несколько слов, они посадили его верхом, двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под уздцы, и все поехали в сторону, оставя карету посреди дороги, людей связанных, лошадей отпряжённых, но не разграбя ничего и не пролив ни единой капли крови в отмщение за кровь своего атамана.

## Глава XIX

Посреди дремучего леса на узкой лужайке возвышалось маленькое земляное укрепление, состоящее из вала и рва, за коими находилось несколько шалашей и землянок.

На дворе множество людей, коих по разнообразию одежды и по общему вооружению можно было тотчас признать за разбойников, обедало, сидя без шапок, около братского котла. На валу подле маленькой пушки сидел караульный, поджав под себя ноги; он вставлял заплатку в некоторую часть своей одежды, владея иголкою с искусством, обличающим опытного портного, и поминутно посматривал во все стороны.

Хотя некоторый ковшик несколько раз переходил из рук в руки, странное молчание царство-

вало в сей толпе; разбойники отобедали, один после другого вставал и молился Богу, некоторые разошлись по шалашам, а другие разбрелись по лесу или прилегли соснуть по русскому обыкновению.

Караульщик кончил свою работу, встряхнул свою рухлядь, полюбовался заплатою, приколол к рукаву иголку, сел на пушку верхом и запел во всё горло меланхолическую старую песню:

*– Не шуми, мати зелёная дубровушка,*
*Не мешай мне молодцу думу думати.*

В это время дверь одного из шалашей отворилась, и старушка в белом чепце, опрятно и чопорно одетая, показалась у порога.

— Полно тебе, Стёпка, — сказала она сердито, — барин почивает, а ты знай горланишь; нет у вас ни совести, ни жалости.

— Виноват, Егоровна, — отвечал Стёпка, — ладно, больше не буду, пусть он себе, наш батюшка, почивает да выздоравливает.

Старушка ушла, а Стёпка стал расхаживать по валу.

В шалаше, из которого вышла старуха, за перегородкою раненый Дубровский лежал на походной кровати. Перед ним на столике лежали

его пистолеты, а сабля висела в головах. Землянка устлана и обвешана была богатыми коврами, в углу находился женский серебряный туалет и трюмо. Дубровский держал в руке открытую книгу, но глаза его были закрыты. И старушка, поглядывающая на него из-за перегородки, не могла знать, заснул ли он или только задумался.

Вдруг Дубровский вздрогнул: в укреплении сделалась тревога, и Стёпка просунул к нему голову в окошко.

— Батюшка, Владимир Андреевич, — закричал он, — наши знак подают, нас ищут.

Дубровский вскочил с кровати, схватил оружие и вышел из шалаша. Разбойники с шумом толпились на дворе; при его появлении настало глубокое молчание.

— Все ли здесь? — спросил Дубровский.

— Все, кроме дозорных, — отвечали ему.

— По местам! — закричал Дубровский. И разбойники заняли каждый определённое место.

В сие время трое дозорных прибежали к воротам. Дубровский пошёл к ним навстречу.

— Что такое? — спросил он их.

— Солдаты в лесу, — отвечали они, — нас окружают.

Дубровский велел запереть ворота и сам пошёл

освидетельствовать пушечку. По лесу раздалось несколько голосов и стали приближаться; разбойники ожидали в безмолвии. Вдруг три или четыре солдата показались из лесу и тотчас подались назад, выстрелами дав знать товарищам.

— Готовиться к бою, — сказал Дубровский, и между разбойниками сделался шорох, снова всё утихло.

Тогда услышали шум приближающейся команды, оружия блеснули между деревьями, человек полтораста солдат высыпало из лесу и с криком устремились на вал. Дубровский приставил фитиль, выстрел был удачен: одному оторвало голову, двое были ранены. Между солдатами произошло смятение, но офицер бросился вперёд, солдаты за ним последовали и сбежали в ров; разбойники выстрелили в них из ружей и пистолетов и стали с топорами в руках защищать вал, на который лезли остервенелые солдаты, оставя во рву человек двадцать раненых товарищей. Рукопашный бой завязался, солдаты уже были на валу, разбойники начали уступать, но Дубровский, подошед к офицеру, приставил ему пистолет ко груди и выстрелил, офицер грянулся навзничь, несколько солдат подхватили его на руки и спешили унести в лес, прочие, лишась

начальника, остановились. Ободрённые разбойники воспользовались сей минутою недоумения, смяли их, стеснили в ров, осаждающие побежали, разбойники с криком устремились за ними. Победа была решена. Дубровский, полагаясь на совершенное расстройство неприятеля, остановил своих и заперся в крепости, приказав подобрать раненых, удвоив караулы и никому не велев отлучаться.

Последние происшествия обратили уже не на шутку внимание правительства на дерзновенные разбои Дубровского. Собраны были сведения о его местопребывании. Отправлена была рота солдат, дабы взять его мёртвого или живого. Поймали несколько человек из его шайки и узнали от них, что уж Дубровского между ими не было. Несколько дней после сражения он собрал всех своих сообщников, объявил им, что намерен навсегда их оставить, советовал и им переменить образ жизни.

«Вы разбогатели под моим начальством, каждый из вас имеет вид, с которым безопасно может пробраться в какую-нибудь отдалённую губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и в изобилии. Но вы все мошенники и, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло».

После сей речи он оставил их, взяв с собою одного **

Никто не знал, куда он девался. Сначала сумневались в истине сих показаний: приверженность разбойников к атаману была известна. Полагали, что они старались о его спасении. Но последствия их оправдали; грозные посещения, пожары и грабежи прекратились. Дороги стали свободны. По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу.

*Незаконченность романа оставляет открытым вопрос о характере Дубровского. Ясно одно: мотивы, которые двигали Владимиром и его людьми разнятся. Герой занимался разбоем из-за обиды, тем самым доказывая местным помещикам, что за его поруганную честь все они рано или поздно поплатятся. Но в итоге главный виновник оказывается неприкосновенен, что приводит к выводу: отвечать злом на зло не выход. Крестьяне же последовали за своим хозяином, движимые благородной преданностью и недовольством из-за помещичьего и чиновничьего произвола. Их злость — это злость народа на власть имущих, которые распоряжались жизнями простых людей. Разная мотивация приводит к тому, что Дубровский переходит грань дозволенного*

*(жестокая расправа над солдатами и убийство офицера прямое этому доказательство), а потом бросает своих крестьян, уверенный в том, что они «все мошенники». Скорее всего, Пушкин привел бы главного героя к раскаянию, но имеющийся текст оставляет финал открытым, а наше отношение к Владимиру Дубровскому двойственным и противоречивым.*

*1832–1833*